
НОЙ
ՆՈՅ
1993 · 5

НОЙ

АРМЯНО-ЕВРЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

МОСКВА
1993



Этот номер армяно-еврейского вестника издан на средства акционерного общества

«САТЭКС»

и посвящен светлой памяти Михаила Петровича ГРИНШПУНА

Хорхе Луис БОРХЕС

ИЗРАИЛЬ

Окованный, оплеванный,
Осужденный быть змеем,
Стерегущий подлое золото,
Осужденный быть Шейлоком,
Он склоняется над землею
И знает, что находится на небесах
Слепой старик, что должен разрушить
Колонны храма;
Лицо обреченное быть маской,
Он - Спиноза, Баал-Шем и каббалисты,
И Библия;
Из бездны он восхвалял
Правосудие Неба;
Как прокурор
Как зубодер
На горе беседовал с Богом,
Осужденный быть посмешищем,
Быть исчадием,
Быть евреем,
Побиваемым камнями, сожигаемым, удушенным в камерах смерти,
Он упорствуя стать бессмертным,
Сегодня выходит на бой,
Прекрасный в лучах победы,
Как лев, озаренный солнцем.

1967

Перевел с испанского Анатолий Фридман

СПЕШУ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Беседа с Гамлетом МИРЗОЯНОМ

«Что такое добро?» - вопрошал св.Антоний Великий. И сокрушенно отвечал: «Когда меня никто не спрашивает, то мне это известно. Как только же я хочу объснить, я этого не знаю».

А что об этом думает 47-летний президент акционерных обществ «САТЭКС», «Тепло», «ГамМа-Р» Гамлет Мирзоян? С ним беседует наш корреспондент Лилия Ковалева.

- Гамлет Ашотович, у вас, что, потребность делать добрые дела?

- Помогать ближнему меня учили родители - отец Ашот и мать Айкуш. Но сама мысль о благотворительности пришла мне и моему другу Михаилу Гриншпуну позже - после Чернобыля, после землятресения в Спитаке, погромов в Сумгаите и Баку, августовского путча. Слишком много невзгод обрушилось на наших сограждан. Но начну издалека... Я родился в Армении, в Горисе, а военную службу проходил в Москве. В 1968 году демобилизовался и пришел на завод. Меня взяли рабочим. Работал сверловщиком, фрезеровщиком, мастером, начальником отдела, заместителем директора и, наконец, возглавил предпрятие. А в 1970 году на завод пришел Михаил Петрович Гриншпун - технологом. Мы стали не только единомышленниками, но друзьями.

- Я видела мемориальную доску с бронзовым барельефом Гриншпуна. И очень много цветов.

- Миша умер год назад, ему было всего 42 года. С ним мы создали наше первое коммерческое предприятие. А место Миши теперь занял его брат Аркадий Петрович Гриншпун.

Мы с Мишей раньше просто подавали нищим, раздавали деньги бедным. А когда создали свое предприятие, сразу решили делить прибыль так: четвертая часть - государству, четвертая - на заработную плату, четвертая - на развитие производства, четвертая - на благотворительность. Даже когда не хватало прибыли, чтобы выполнить обязательства перед инвалидами-афганцами, пенсионерами, сиротами, мы брали кредит в банке, - ведь человек, оказавшийся в беде, ждать не может, надо спешить делать добро.

- Принято считать, что желание помочь ближнему присуще людям верующим...

- Не уверен. Нормальному человеку вообще свойственно больше давать, чем брать. Даже делать подарки приятнее, чем их получать, - если, конечно, такая возможность есть. У нас она появилась пять лет назад, когда мы организовали при нашем заводе сантехоборудования кооператив «Прогресс». Это совпало с тем, что нас с Мишей избрали депутатами районного совета, и мы не просто делали подарки, а помогали инвалидам, пенсионерам, организовали программу «Спасение» - это помощь детям-сиротам. Помогали верующим - правосласным, мусульманам, кришнаитам... Недавно 700 малоумущих горожан подписали на газету «Вечерняя Москва», ведь многим даже газеты не по карману.

- Вы сказали, что оказываете помощь и мусульманам? Но ведь вы армянин!

- После армянских погромов в Баку мы приняли в нашем подмосковном панси-

онате около двухсот беженцев, в основном смешанные семьи: муж армянин, жена еврейка; муж азербайджанец, жена армянка. Люди нуждались в убежище, покое, куске хлеба. Как можно отказать в этом человек(Причем тут национальность или вера? И они не говорили о своей национальности, просто: «Мы - бакинцы». Разве я могу ненавидеть азербайджанца, который бежал из Баку, спасая свою жену, своих детей, свою любовь? Я восхищаюсь им, потому что не все способны любить так сильно. Сейчас большинство беженцев уехали в США, Израиль. Некоторые остались работать у нас.

- На вашем предприятии много людей?

- Около тысячи. Конечно, есть среди них армяне и евреи. Прораб Миша Мирзоян, руководитель производства Андраник Казарян, председатель организации Александр Фельдман, директор акционерного общества «САТЭКС» Иосиф Винокур, директор центра снабжения Вениамин Герман - наш старшейшина, ему 82 года, это он принимал меня четверть века назад на завод. Мой сын Армен работает слесарем-инструментальщиком. Он с пятнадцати лет на заводе, сейчас ему девятнадцать.

- Армен - ваш единственный ребенок?

- От первой жены у меня два сына - Александр, он учится на юридическом факультете, и Армен. Но так случилось, что сейчас у меня новая семья. Моя вторая жена - русская, Марина. Год назад у нас родился сын Ашот. И, знаете, он больше похож на меня, чем старшие сыновья, они сами об этом говорят.

- Гамлет Ашотович, я знаю, что ваше предприятие - единственное в России по проектированию, производству и монтажу теплотехнического оборудования, бойлерных. Одним словом, без вашей продукции не может обойтись ни один дом - вы даете горячую воду, тепло. А есть у вас деловые связи с Арменией, Израилем?

- Два года назад наш юрист Илья Черкинский уехал в Израиль. Недавно он предложил мне создать совметное российско-израильское предприятие; по-моему, это интересное предложение. Появилась возможность вести дела с партнерами из США, среди них также есть наш бывший сотрудник Зиновий Рахмилевич. Ну, а Армения... Там, в Горисе, живет моя мама. В начале года я обратился в правительству Армении и руководству района с предложением основать в Горисе «Фонд Ашота Мирзояна» - в память о моем отце. Я буду ежемесячно перечислять в фонд несколько миллионов рублей. Мое предложение нашло понимание и самый горячий отклик.

- А кто возглавит этот фонд?

- Моя мать Айкуш, у нее большой опыт в таком деле, ведь она двадцать лет работала в районном отделе социального обеспечения. Она знает, кто из земляков нуждается в помощи. Увы, таких с кажды снем становится все больше, ведь в Горисе тоже война, все соседние дома разрушены бомбежкой, соседские дети прячутся в подвале нашего дома.

- Гамлет Ашотович, вы добровольно, даже с радостью помогаете людям. Кем вы себя чувствуете - хозяйственным руководителем, бизнесменом, филантропом?

- В прошлом году ко мне пришел художник Сурен Мальян, рассказал историю... Жил в Москве известнейший меценет Тарасов. Умер в начале века. Похоронен на армянском кладбище. Памятник на его могиле сделал замечательный скульптор Николай Андреев. Надгробие то ли разрушили, толи вывезли, но Мальян нашел в музее его описание, организовал сбор пожертвований на восстановление памятника. За два года ему удалось собрать... 27 рублей. И тогда он пришел к нам. Сейчас памятник Тарасову восстановлен. Кто же вспомнит о мертвых, если не мы, живые?

А кем я себя чувствую? Человеком, которому гораздо легче жить и работать, делая добро.

Эли Визель

РАССВЕТ

РОМАН

Франсуа Мориаку

Где-то заплакал ребенок. В доме напротив пожилая женщина закрыла жалюзи. Было жарко. В Палестине даже осенью по вечерам жарко.

Стоя у окна, я вглядывался в прозрачные сумерки, которые, опускаясь на город, усиливали присущую ему неподвижность, загадочность, молчаливую затаенность.

«Завтра я убью человека», - подумал я в сотый раз и спросил себя, известно ли об этом плачущему ребенку и женщине напротив. Я не знал этого человека. Пока что и его лицо, и его существование были лишены для меня всякой определенности.

Я не знал о нем ничего. Не знал, потирает ли он переносицу, когда ест, молчит ли он или что-то шепчет, когда занимается любовью, нравится ли ему ненавидеть, изменяет ли он своей жене, своему Богу или своему будущему. Я знал лишь, что он англичанин, что он мой враг. Но это известно каждому.

- Не мучайся, - тихо сказал Гад. - Это война.

Я едва различил его слова. Я хотел сказать, что можно говорить громко, что никто его не услышит. Ребенок все еще плакал, заглушая остальные звуки. Но я так и не открыл рот. Я думал о человеке, который завтра умрет. «С завтрашнего дня, - подумал я, - мы будем связаны навеки, как могут быть связаны только палач и жертва».

- Уже ночь, - сказал Гад. - Зажечь свет?

Я покачал головой. По-настоящему ночь еще не наступила. Там, в окне, еще не возникло лицо. А оно всегда появляется в тот самый момент, когда день сменяется ночью.

Искусству отделять день от ночи научил меня один нищий. Я познакомился с ним далеким зимним вечером в жарко натопленной синагоге, куда я пришел

Перевод с французского и примечания Ольги Боровой

читать молитвы. Это был высокий худой человек с загадочным выражением лица. Одет он был бедно, во все черное, а глаза его смотрели словно из иного мира.

Это случилось в начале войны. Мне было двенадцать лет. Еще живы были мои родители, и Бог все еще обитал в нашем городке.

- Вы издалека? - спросил я нищего.

- Я не из этих мест, - произнес он голосом, который, казалось, скорее прислушивался, чем говорил.

Я любил нищих и одновременно их боялся. Я знал, что обращаться с ними надо ласково: ведь никогда не знаешь, вправду ли это нищие. Хасидские книги предупреждают, что часто в обличье нищего землю и человеческие сердца посещает пророк Илия. Тем, кто встречает его ласково, он дарит вечность. Но не только пророк Илия любит притворяться нищим. В таком же обличье разгуливает по земле и Ангел смерти, которому очень нравится пугать людей. С ним нужна особая осторожность: ведь он может отнять у вас жизнь или душу.

Тот незнакомец в синагоге внушал мне страх. Я спросил, не хочет ли он есть. Нет, он не был голоден. Не нужно ли ему чего-нибудь? Нет, ничего не нужно. Я хотел что-нибудь для него сделать, но не знал что.

Синагога опустела. Вот-вот погаснут свечи. Меня все сильнее охватывала глухая тревога. Я знал, что мне нельзя оставаться с ним в синагоге до полуночи. Ведь в полночь из могил встают мертвые и приходят сюда читать молитвы. Если они застанут вас в синагоге, то могут увести с собой, чтобы сохранить свою тайну.

- Пойдемте к нам домой, - сказал я нищему. - Вас покормят и уложат спать.

- Я никогда не сплю, - ответил нищий. Теперь я уже не сомневался: это был не простой нищий...

Я сказал ему, что должен идти домой, и он предложил меня проводить. Когда мы шли по занесенным снегом улочкам, он спросил, боюсь ли я ночи.

- Да, - ответил я, - боюсь. - Мне хотелось добавить, что его я тоже боюсь, но я был уверен, что ему это и так известно.

- Не надо бояться ночи, - сказал он, взяв меня за руку.(Я задрожал.) - Ночь чище дня. Ночью лучше думаешь, мечтаешь, любишь. Ночь все усиливает и открывает истинный смысл вещей. Когда проинзесенные днем слова повторяет эхо ночи, они приобретают совсем иное, более глубокое, сокровенное значение. Нечастье людей в том, что они не умеют отличать день от ночи. Ночью они говорят то, что следует говорить только днем.

Когда мы дошли до моего дома, он остановился. Я предложил ему войти. Он не захотел. Ему надо было идти. Я подумал: «Он возвращается в синагогу, чтобы в полночь встретить там мертвых».

- Послушай, - сказал он, и его пальцы снова сжали мне руку. - Я научу тебя искусству отличать день от ночи. Всегда смотри в окно, а если окна нет, то в человеческие глаза. Когда увидишь там лицо - неважно какое, - то поймешь, что ночь сменила день. Потому что - знай - у ночи есть лицо.

И, не дав мне ничего сказать, он попрощался и исчез в снежной мгле. И теперь каждый вечер, в сумерки, я подходил к окну, чтобы не пропустить

наступление ночи. За окном всегда появлялось какое-нибудь лицо. Лица были разные, потому что ведь и ночи все разные. Сначала это было лицо Нищего. Когда умер отец, стало появляться его лицо, с глазами, увеличенными смертью и воспоминанием. Иногда свои лица давали ночи незнакомые люди, это были лица в слезах или с позабытыми улыбками. О них я знал лишь то, что все они умерли.

- Не мучайся, - сказал Гад. - Что ты мучаешься в темноте? Это война.

Я думал о человеке, которого убью завтра на рассвете, и еще о Нищем. Неожиданно у меня по спине пробежала дрожь. Мне пришла в голову абсурдная мысль: а вдруг на рассвете я должен убить Нищего?

Как это часто бывает на Ближнем Востоке, сумерки сгустились внезапно. Ребенок продолжал плакать, и его плач казался мне еще жалостнее. Теперь город походил на призрачный корабль. Ночь бесшумно его поглотила.

Я глядел в окно, где из глубины ночи, сотканное из обрывков теней, начало вырисовываться лицо. Острая боль сжала мне горло. Она пронзила все мое существо. Потрясенный, я не мог отвести взгляда от этого лица.

Оно было моим.

За час до этого Гад объявил мне решение Старика: казнь состоится. Завтра на рассвете. Приговоренные всегда умирают на рассвете.

Решение Старика меня не удивило. Именно этого я и ожидал. Все этого ожидали. Жители Палестины знали: Движение держит слово. Всегда. Англичане тоже это знали.

За месяц перед тем полиция задержала одного из наших бойцов, который был ранен во время террористической акции. При нем было найдено оружие. На основании действовавшего в стране закона о военном положении трибунал вынес приговор, которого все ожидали: смерть через повешение.

Это был десятый смертный приговор, который вынесли нашим бойцам мандатные власти. Старик решил с этим покончить: он не мог позволить англичанам превратить Святую Землю в эшафот. И объявил о новой тактике Движения - тактике ответных действий.

С помощью листовок и передач подпольной радиостанции Движение предостерегало англичан: не вешайте Давида бен Моше, не вешайте его, ибо эта смерть обойдется вам дорого. Отныне всякий раз, как вы казните еврейского бойца, еще одна мать в Англии будет оплакивать смерть своего сына. Чтобы придать нашим словам больше веса, Старик приказал захватить заложника, желательно офицера. Судьбе было угодно, чтобы им оказался капитан Джон Досон. Как-то вечером он прогуливался в одиночестве, а наши люди как раз искали офицеров, гулявших по вечерам в одиночестве.

Захват Джона Досона вызвал потрясение во всей стране. Британская армия объявила чрезвычайное положение на 48 часов. Во всех домах был проведен самый тщательный обыск. Были задержаны сотни подозрительных лиц. На каждом перекрестке встал танк. Крыши домов превратились в пулеметные гнезда. Повсюду возникли заграждения из колючей проволоки. Палестина стала гигантской тюрьмой.

А в самом сердце этой огромной тюрьмы находилась другая, маленькая, и там, недосягаемый для своих товарищей, содержался заложник Движения.

Короткое и грозное обращение Верховного комиссара Палестины предупреждало, что если террористы казнят офицера Его Величества Джона Досона, то за это ответит все население.

Людей охватил страх. В разговорах замелькало слово «погром».

- Ты думаешь, они правда на этой пойдут?
- Почему нет?
- Англичане? Англичане устроят погром?!
- Почему нет?
- Не посмеют.
- Почему нет?
- Мир им этого не позволит.
- Почему нет? Вспомни Гитлера: ему же мир позволил.

Положение становилось серьезным. Призывая к благоразумию и обличая терроризм, сионистские лидеры немедленно обратились к Старику. Они просили его: не заходите слишком далеко, ведь речь идет о жизни всего народа; не убивайте британского офицера, уже говорят о погромах, о мести; вы ставите под удар жизнь невинных людей. Старик ответил: если умрет Давид бен Моше, Джон Досон тоже умрет. Уступка Движения означала бы победу англичан и была бы воспринята как признак нашей слабости и даже бессилия; это все равно что сказать им: «Давайте, вешайте наших еврейских ребят, которые восстают против вас». Нет, Движение не уступит. Англичане понимают лишь язык силы. Око за око. Смерть за смерть.

Это противостояние привлекло к себе внимание во всем мире. Ему уделяли много места крупнейшие газеты в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. В Лидду были направлены десятки специальных корреспондентов. Фотографии Давида бен Моше и Джона Досона появились рядом на первых страницах газет и журналов. Иерусалим вновь стал центром вселенной.

В Лондоне некая женщина получила аудиенцию у министра по делам колоний. Она выступила в защиту еврейского террориста. Это была мать Джона Досона. Она умоляла помиловать Давида бен Моше, чья жизнь была связана с жизнью ее сына. Строгий министр ответил ей с улыбкой: «Не бойтесь, сударыня. Евреи не посмеют этого сделать. Вы же их знаете: они плачут, кричат и произносят слова, которых сами же боятся. Успокойтесь, сударыня, ваш сын не умрет!»

Верховный комиссар не был в этом уверен. Он направил в министерство по делам колоний телеграмму, в которой рекомендовал помиловать Давида бен Моше. По его мнению, этот жест обеспечил бы Великобритании поддержку и одобрение как в Палестине, так и за ее пределами.

Ответом был телефонный звонок из Лондона. Говорил сам министр. Рекомендация Верховного комиссара была рассмотрена на заседании Кабинета. Два члена правительства ее поддержали. Остальные высказались против. Прежде всего по политическим причинам, но речь шла также и о престиже Короны и Империи. Помилование было бы воспринято как признак слабости;

могло внушить вредные идеи так называемым молодым идеалистам в других колониях. Люди станут говорить: «Кучка террористов в Палестине указала Великобритании, что она должна делать».

- Мы станем всеобщим посмешищем, - добавил министр. - Кроме того, подумайте о Палате общин. Оппозиция, которая и так уже набирает силу, нас просто сметет.

- Значит, нет? - спросил Верховный комиссар Палестины.

- Нет.

- А Джон Досон, сэр?

- Они на это не решатся.

- Боюсь, что не могу с вами согласиться.

- Это ваше право.

Несколько часов спустя официальное радио Иерусалима объявило: казнь Давида бен Моше состоится завтра на рассвете в Акко*. Родственникам осужденного было разрешено посетить его для прощания. Верховный комиссар призвал население сохранять спокойствие.

Далее следовали прочие новости дня. В ООН идет подготовка к обсуждению палестинской проблемы; в Средиземном море при таможенном досмотре задержаны два парохода, направлявшиеся в Хайфу с нелегальными иммигрантами на борту, пассажиры будут интернированы на Кипре. Автомобильная катастрофа в Натании - один человек погиб, двое ранены. Погода на завтра: жарко, ясно, видимость хорошая. «Повторяем наше первое сообщение: Давид бен Моше, приговоренный к смерти за террористические действия, будет казнен...»

О Джоне Досоне диктор не сказал ничего, но все, кто в тревоге и напряжении слушали радио, знали: он умрет. Английский капитан последует в смерть за Давидом бен Моше. Движение сдержит свое слово.

- Кто казнит Джона Досона? - спросил я Гада.

- Ты, - ответил он. - Я? - переспросил я, пораженный. Я не верил собственным ушам.

Меня будто ударили кулаком в лицо. Земля разверзлась у меня под ногами, и казалось, я бесконечно падаю в пустоту, где существование - сплошной кошмар.

- Это война, - сказал Гад. Его голос донесся до меня издалека, из такой дали, что я едва его слышал.

- Это война. Не мучайся.

«Завтра я убью человека, - думал я, падая в пустоту. - Я убью человека. Я.».

Меня зовут Элиша.

Во время описываемых событий мне было 18 лет. Я оказался в Палестине в результате встречи с Гадом. Эта же встреча сделала меня участником Движе-

*** Акко - приморский город в 23 км к северу от Хайфы. В период британского мандата крепость аль-Джаззар в Акко служила тюрьмой, где среди прочих отбывали наказание и были казнены многие участники Движение еврейского сопротивления.**

ния. Она же сделала меня террористом.

С Гадом мы позникомились в Париже, где я жил после окончания войны. Я попал туда прямо из Бухенвальда.

Когда американцы освободили лагерь, они предложили отправить меня обратно домой. Я отказался. Я знал, что родителей уже нет в живых, я знал также, что мой город оказался в советской зоне оккупации. Зачем же мне возвращаться? «Нет, большое спасибо, - сказал я, - я не хочу возвращаться домой».

- А куда бы ты хотел поехать? - спросили меня. Я сказал, что не знаю, что мне безразлично. Я готов ехать куда угодно.

После того как я пробыл пять недель в освобожденном Бухенвальде, меня посадили в поезд, направлявшийся в Париж. Франция предложила мне убежище. В Париже одна организация помощи беженцам направила меня на месяц для реабилитации в юношеский лагерь в Нормандии.

Когда я вернулся в Париж, та же организация предоставила мне комнату на улице Маруа и небольшую стипендию - ее хватало на жизнь и на оплату уроков французского, которые ежедневно, кроме субботы и воскресенья, давал мне некий господин с усами, чье имя я позабыл. Я хотел овладеть французским настолько, чтобы слушать лекции по философии в Сорбонне.

Философия привлекала меня потому, что я хотел понять смысл событий, жертвой которых оказался. В концлагере я восстал против Бога и человека, который подобен Ему лишь своей жестокостью. Теперь я хотел заново осмыслить этот крик боли и гнева, обдумывая происшедшее со мной со стороны и в сегодняшней перспективе.

Меня одолевали многочисленные вопросы. Где человек обретает Бога? В страдании или в сопротивлении? Что делает человека человеком? Что делает с ним страдание - очищает или превращает в животное?

Я надеялся, что философия ответит мне на эти вопросы. Она развеет мои сомнения, воспоминания, чувство вины. А если и не развеет, то, по крайней мере, прояснит и упорядочит.

Я решил записаться в Сорбонну и прилежно посещать лекции.

Ничего этого я не сделал.

Именно Гад вынудил меня оставить занятия. Если и сегодня я по-прежнему всего лишь знак вопроса, то ответственность за это несет Гад.

Однажды вечером кто-то постучал в дверь моей комнаты. Я открыл, недоумевая, кто бы это мог быть. Друзей в Париже у меня не было. Я никого не знал и большую часть времени проводил, сидя у себя в комнате над книгой или думая о прошлом.

- Я хотел бы с вами поговорить.

На пороге стоял молодой высокий и статный мужчина. На нем был плащ, придававший ему вид не то сыщика, не то искателя приключений.

- Войдите, - сказал я, когда он был уже в комнате. Он остался в плаще.

Он молча подошел к столу, взял разбросанные на нем книги, рассеянно полистал и положил обратно. Затем он обернулся ко мне.

- Я знаю, кто вы, - сказал он. - Я знаю о вас все.

У него было загорелое энергичное лицо и взъерошенные волосы. Одна прядь все время падала ему на лоб. Твердая, почти жесткая линия рта контрастировала с выражением доброты в его умном, пристальном взгляде.

- Вам повезло больше, чем мне, - ответил я. - Я не знаю о себе почти ничего.

Он улыбнулся.

- Я пришел не за тем, чтобы говорить о вашем прошлом, - сказал он.

- Будущее меня мало интересует, - ответил я. Он продолжал улыбаться.

- Будущее? - спросил он. - Вы им дорожите?

Его присутствие меня сковывало. Я его не понимал. Смысл его вопросов был мне неясен. И что-то в нем меня раздражало. Возможно, это объяснялось тем, что он имел передо мной преимущество: ему было известно обо мне все, а я не знал даже его имени. Он задумчиво смотрел на меня как на хорошо знакомого человека, и с таким ожиданием, что на мгновение мне подумалось: он меня с кем-то путает, он пришел ко мне по ошибке.

- Кто вы? - спросил я. - Кто вы? К чему вам мое будущее?

- Меня зовут Гад, - ответил он глубоким задумчивым голосом - так, словно произносил каббалистическую фразу, содержащую ответы на все вопросы. Он так сказал «Меня зовут Гад», как Бог говорит: «Я есмь Тот, Кто есмь».

- Хорошо, - сказал я с любопытством и тревогой. - Вас зовут Гад. Рад познакомиться. А теперь, раз вы представились, то, возможно, сообщите мне и о цели своего посещения. Зачем я вам нужен?

Я ощутил, как его взгляд пронизывает меня насквозь. Он смотрел на меня несколько секунд, а затем ответил спокойным, совершенно обычным и будничным голосом:

- Я хочу, чтобы вы отдали мне свое будущее. Я был воспитан в хасидской среде и слышал множество странных историй, героем которых был *Мешуллах* - таинственный вестник судьбы, который способен сделать что угодно, в любое время и самым невероятным образом. Этот вестник, чей голос вызывает у человека дрожь, обладает всевластием, ибо его весть превосходит и его самого, и слушателя. Произносимые им слова принадлежат миру абсолютного и бесконечного, а их смысл одновременно притягивает и пугает. Я подумал, что Гад, несомненно, и есть такой *Мешуллах.* Меня наводила на эту мысль не внешность Гада, а его голос и то, что этот голос говорил.

- Кто вы? - спросил я опять.

Я его боялся. Его присутствие меня пугало. Что-то говорило мне, что в конце нашего совместного пути я встречу человека, который будет похож на меня и которого я возненавижу. Думаю, что уже тогда я знал: однажды я убью человека.

- Я Вестник.

Я почувствовал, что смертельно бледнею. Значит, я угадал. Он был вестником. Посланцем судьбы. Ему нельзя отказать ни в чем. Ему должно отдать все. Даже надежду, если он ее потребует.

- Вам нужно мое будущее, - сказал я. - Что же вы с ним сделаете?

Он снова улыбнулся, но эта улыбка была холодной, далекой, таинственной. Так улыбается тот, у кого есть власть над людьми.

- Я превращу его в крик, - и в глубине его глаз зажегся странный свет. -

Сначала это будет крик отчаяния, потом крик надежды, а в самом конце это будет победный клич.

Я сел на кровать, а ему предложил единственный имевшийся в комнате стул. Он продолжал стоять. Согласно хасидским легендам, Вестник всегда стоит, словно само его тело должно постоянно соединять землю и небо.

Так, стоя в своем плаще, который, казалось, прирос к нему, склонив голову направо, с горящим взглядом и страстными интонациями, он стал рассказывать мне о Движении.

Он много курил. Но, даже зажигая сигарету, он продолжал искоса смотреть на меня и не прерывал свою речь.

Гад говорил до утра, а я слушал с широко раскрытыми глазами и открытой душой. Точно так же в детстве я слушал своего старого учителя с пожелтевшей бородой, который открыл мне таинственный мир каббалы, где всякая идея становится историей, а всякая история - даже рассказ о жизни тени - становится искрой вечности.

В ту ночь Гад рассказывал мне о Палестине, о многовековой мечте евреев вновь создать независимую и свободную родину, где всякое человеческое действие будет свободным.

Он рассказал мне об ожесточенной борьбе и терроре Движения против англичан.

- Английское правительство послало сто тысяч солдат для поддержания так называемого порядка. У нас - я имею в виду Движение - не более сотни бойцов. Но мы держим англичан в страхе. Понимаете? Мы держим в страхе англичан! - воскликнул он, и я увидел, как в глубине его черных глаз вспыхнули сотни искр, которые повергают в страх сто тысяч англичан.

Я впервые в жизни слышал рассказ о евреях, где от страха дрожали не евреи. До сих пор я всегда считал, что миссия евреев в истории - быть вместилищем страха, но отнюдь не вызывать страх у других.

- Десантники, полицейские, собаки, танки, самолеты, автоматы, палачи - все боятся нас, - повторил Гад. - Святая Земля стала для них землей ужаса. Они боятся в темноте выходить из дома, боятся поглядеть в глаза девушке из страха, что она выстрелит им в живот; бояться приласкать ребенка из страха, что он бросит им в лицо гранату. Они боятся говорить. Боятся молчать. Им страшно.

Много часов напролет Гад говорил о синих ночах в Палестине, об их тихой и безмятежной красоте. Вечером вы гуляете с женщиной, вы говорите, что любите ее, что она прекрасна, и двадцать веков истории слышат эти слова. Но для англичан в ночах нет ничего прекрасного. Для них с наступлением тьмы словно открывается крышка гроба. Каждый вечер один, два, десять солдат уходят в ночь и больше не возвращаются.

Гад объяснил, чего он от меня хочет: чтобы я оставил все, отправился в ним в Палестину и принял участие в борьбе. Движению нужны свежие силы, подкрепление. Движению нужны молодые люди, готовые отдать ему свое будущее. Результатом сложения этих будущих станет свобода Израиля, будущее Палестины.

Обо всем этом я услышал тогда впервые. Мои родители не были сионистами.

Для меня Сион был священной идеей, мессианской надеждой, молитвой, биением взволнованного сердца, но никак не географическим пунктом, или политической реальностью, или делом, ради которого люди гибнут и убивают других.

Рассказ Гада меня взволновал. Я увидел в нем Князя еврейской истории, Вестника из легенды, посланца судьбы, пришедшего из мира моего воображения, чтобы сказать народу, чье прошлое стало религией: «Придите, придите, придите. Вас ждет будущее. Оно раскрыло навстречу вам свои объятия. Отныне вас не будут преследовать, унижать, высмеивать и даже жалеть. Вы больше не будете чужаками, не будете подчиняться чужому времени, не будете жить на чужой земле. Придите, братья, придите».

Гад замолчал и подошел к окну, за которым наступал рассвет. Ночь начала рассеиваться. Бледный, словно уже утомленный свет цвета гнилой воды заполнил комнатушку на улице Маруа.

- Я согласен, - сказал я.

Должно быть, я сказал это слишком тихо, так что Гад не расслышал. Он продолжал стоять у окна и после минутной паузы обернулся ко мне со словами:

- Рассвело. У нас рассет совсем другой. Здесь он серый, а у нас в Палестине - огненно-красный.

- Я согласен, Гад, - повторил я.

- Я слышал, - ответил он с улыбкой цвета парижского рассвета. - Ты едешь через три недели.

Я вздрогнул от легкого ветерка. Стояла осень. «Еще три недели, - подумал я, - а потом неизвестность». Может быть, я вздрогнул не от ветерка, а от этой мысли.

Думаю, что уже в тот момент я каким-то образом почувствовал, что в конце пути, который мне предстояло пройти рядом с Гадом, меня ждет человек, похожий на меня - человек, призванный убить другого человека, возможно похожего на него самого.

* * *

«Вы слушаете *Голос Иерусалима*... В эфире новости... Казнь Давида бен Моше состоится завтра на рассвете... Верховный комиссар призвал население сохранять спокойствие... Комендантский час с девяти вечера... Не выходите из домов... Повторяю: не выходите из домов... Армии дан приказ стрелять без предупреждения...»

В голосе диктора чувствовалось волнение. Когда он произносил имя Давида бен Моше, в его глазах, должно быть, стояли слезы.

Молодой еврейский боец стал героем дня во всем мире. Все движения Сопротивления в Европе провели манифестации перед британскими посольствами. Главные раввины всех стран подписали телеграмму, адресованную Его Величеству. В телеграмме содержалась всего одна фраза»: «Не вешайте юного мечтателя, чье единственное преступление - идеализм». И за этой фразой - около тридцати подписей. Еврейская делегация была принята в Белом доме, и президент пообещал вступиться за молодого еврейского бойца. В тот день человечество жило судьбой Давида бен Моше.

Было восемь часов. На улице уже стемнело. Гад зажег свет. Ребенок опять заплакал.

- Скоты, - сказал Гад. - Они его повесят.

У него горело лицо. Он был охвачен волнением. Он стал шагать по комнате. Зажег сигарету, тут же ее бросил и зажег другую. - Они его повесят.

Они его повесят, - повторял он. - Ах, скоты!

Диктор кончил читать новости. Началась музыкальная программа. Я хотел выключить приемник, но Гад остановил меня:

- Четверть девятого. Поищи нашу станцию.

От волнения у меня не получалось.

- Дай мне, - бросил Гад.

Передача только что началась. Зазвучал очень красивый низкий женский голос. Его знала вся Палестниа. Каждый вечер в четверть девятого во всех домах взрослые и дети бросали свои дела и игры, чтобы послушать этот страстный и таинственный голос, который неизменно начинал передчу четырьмя словами: «Вы слушаете *Голос свободы...*»

Евреи Палестины любили эту молодую женщину, хотя и не знали, кто она. Англичане дорого дали бы за то, чтобы до нее добраться. Они считали, что она не менее опасна, чем Старик. Она тоже была частью легенды. И лишь очень немногие знали, кому принадлежит этот мелодичный голос. Этих людей было всего пятеро. Знал Гад. Знал я. Мы были с ней знакомы. Ее звали Илана. Они с Гадом любили друг друга. А я любил их любовь. Эта любовь была мне необходима. Мне нужно было знать, что любовь существует и что она несет радость и смех.

«Вы слушаете *Голос свободы*», - повторила Илана.

По мрачному лицу Гада прошла судорога. Он стоял около приемника, склонившись над ним, будто сломанный пополам. Казалось, он хочет рукой и глазами прикоснуться к чистому, волнующему голосу Иланы, который в тот вечер был и моим голосом, и голосом всей Палестины.

«Два человека готовятся встретить смерть завтра на рассвете, - продолжала Илана так, словно читала Библию, которую ежедневно переписывают заново. - Одни из них заслуживает восхищения, другой - жалости. Давид бен Моше, наш брат, ставший нашим предводителем, знает, за что умрет. Джон Досон этого не знает. Они оба молоды, красивы, могли бы жить и быть счастливыми. Но этого не будет. Это уже невозможно. Завтра на рассвете они умрут. Они умрут в один час, в одну минуту, но не вместе. Их разделяет пропасть. Смерть Давида бен Моше имеет смысл. Смерть Джона Досона бессмысленна. Давид - герой, Джон - жертва».

Илана говорила минут двадцать. Последняя часть передачи была целиком посвящена Джону Досону, который больше, чем Давид бен Моше, нуждался в словах утешения.

Я не знал ни Давида, ни Джона, но ощущал, что связан с ними и с их жизнями. Вдруг, словно вспышка молнии, меня озарила мысль: говоря о смерти, ожидающей Джона Досона, Илана говорит обо мне. Ведь его убью я. А кто же убьет Давида бен Моше? На мгновение мне почудилось, что я должен

убить их обоих, убить всех Давидов и Джонов на свете, стать их палачом. «Вот так, - подумал я. - Мне восемнадцать лет. Восемнадцать лет поисков, страданий, учения, протеста. И вот результат. Я хотел понять сущность человеческой чистоты. Я искал путь, ведущий к человеку. Я пытался выйти не верную дорогу, и вот я готов стать убийцей - пособником смерти и Бога». Я подошел к висевшему на стене зеркалу. Мне захотелось взглянуть на себя. Я увидел себя - и подавил глухой стон. Я целиком состоял из глаз.

В детстве я боялся смерти. Нет, я не боялся умереть, но всякий раз при мысли о смерти меня охватывал ужас. »Смерть, - говорил мой старый учитель-каббалист по имени Калман, - смерть - это существо, у которого нет ни рук, ни ног, ни рта, ни головы. Она целиком состоит из глаз. Если когда-нибудь ты увидишь существо, состоящее из глаз, знай: это смерть».

Гад неподвижно стоял у приемника и напряженно слушал Илану.

- Посмотри на меня, - попросил я.

Он не слышал.

«У вас есть мать, Джон Досон, - говорила Илана. - Сейчас она в слезах или в безмолвном отчаянии. Сегодня она не ляжет спать. Всю ночь она просидит в кресле у окна с часами в руках, ожидая рассвета. Потом ее сердце сожмется. В этот самый миг ваше сердце остановится. «Они убили моего сына! - воскликнет она, теряя сознание. - Убийцы!..» Нет, миссис Досон, мы не убийцы».

- Посмотри на меня, Гад, - повторил я.

Он поднял на меня взгляд, пожал плечами и вновь вернулся к голосу Иланы. «Гад не знает, что я смерть, - подумал я. - Но она, его мать, конечно, это понимает. Она тихо сидит одна, перед окном, выходящим в запущенный сад, где-то на окраине Лондона. Она-то, конечно, знает. Она догадалась. Она всматривается в ночь, у которой, наверное, мое лицо. Лицо, целиком состоящее из глаз».

«Нет, миссис Досон, мы не убийцы. Убийцы ваши министры. Это они убьют вашего сына завтра утром. А мы хотели бы, чтобы он был нашим другом и братом, мы дали бы ему молока и хлеба, рассказали бы ему о красоте нашей страны. Но ваше правительство, сударыня, сделало его нашим врагом и тем самым подписало ему смертный приговор. А мы не убийцы».

Я опустил голову на руки. Ребенок больше не плакал.

* * *

Я наверняка уже и раньше убивал. Иначе и быть не могло. Но это происходило при других обстоятельствах, при других свидетелях, имело другой смысл.

За несколько месяцев, проведенных в Палестине, я принял участие во многих столкновениях с полицией, в десятках диверсий, в нападениях на военные транспорты, которые шли по зеленым дорогам Галилеи или по белым тропинкам в пустыне. Часто бывали убитые с обеих сторон. Однако мы всегда несли меньше потерь, потому что нашей союзницей была ночь. Незаметные и неуловимые, мы могли напасть в самых неожиданных местах, в самое неожиданное время, разрушить военный лагерь, убить десяток солдат и бесследно скрыться. Целью Движения было уничтожить как можно больше британских

солдат. Все было очень просто.

Эту задачу мне тщательно внушали с самого первого дня, с моих первых шагов по земле Палестины. Когда я сошел с парохода в Хайфе, меня встретили двое членов Движения. Они посадили меня в машину и привезли в двухэтажный дом, где-то между Рамат-Ганом и Тель-Авивом. Этот дом был снят на имя некоего предподавателя иностранных языков, с тем чтобы соседей не удивляло постоянное мелькание там многочисленных юношей и девушек. В доме были устроены курсы терроризма для вновь прибывших, среди которых оказался и я. Кроме того, в этом здании, которое мы называли школой, имелась подземная тюрьма, где содержались пленные, заложники и наши товарищи, разыскивавшиеся полицией. Именно в этой тюрьме ожидал в ту ночь казни Джон Досон. Тайник был очень надежный, никто не мог бы его обнаружить. Солдаты и полицейские многократно обшаривали дом сверху донизу, их собаки стояли в двух шагах от Джона Досона. Но из разделяла непреодолимая стена.

Руководителем курсов был Гад, но и другие инструкторы, чьи лица всегда скрывали маски, учили нас обращению с револьвером, автоматом и гранатами. Мы также учились искусно пользоваться кинжалом, беззвучно душить жертву, подкравшись сзади, и бежать из любой тюремной камеры.

Занятия продолжались шесть недель. По два часа в день Гад говорил с нами о программе Движения. Его цель - прогнать англичан. Средства - устрашение, террор, убийства.

- В тот день, когда в Лондоне поймут, что оставаться в Палестине можно лишь ценой крови, британской оккупации придет конец, - говорил Гад. - Я это точно знаю. То, что мы делаем, несправедливо. Бесчеловечно, жестоко. Но у нас нет выбора. В течение многих поколений мы хотели быть лучше и чище душой, чем наши преследователи. Результат вам известен: Гитлер и немецкие лагеря уничтожения. Так вот, нам надоело быть справедливее тех, кто прикрывается словами о справедливости. Они не вспоминали о справедливости, когда нацисты уничтожили треть нашего народа. Когда убивают евреев, все молчат. Это доказывают двадцать веков нашей истории. Нам не на кого надеяться, кроме как на самих себя. И если надо стать несправедливыми и жестокими, чтобы изгнать тех, кто несправедлив и жесток по отношению к нам, что ж, мы такими станем. Мы не хотим сеять смерь. До сих пор мы всегда предпочитали быть жертвами, а не палачами. С вершины одной из палестинских гор человечеству было заповедано: «Не убий». И только мы соблюдали эту заповедь. Но больше этого не будет. Мы станем как все. Убийство будет для нас не занятием, а обязанностью. В ближайшие дни, недели и месяцы думайте только об этом: убивать тех, кто делает нас убийцами... Убивайте их, чтобы мы вновь могли стать людьми.

В последний день к нам пришел незнакомец - тоже, конечно, в маске - и говорил о том, что Движение называло Одиннадцатой заповедью: «Ненавидь врага твоего». Его мягкий, застенчивый голос казался мне романтическим. Думаю, это был Старик. Я в этом не уверен, но те немногие слова, что он произнес, заставили нас задрожать от волнения, пробудили страстное воодушевление. Еще долгое время после его ухода я чувствовал, как его слова

отдаются в моей душе. В результате этой встречи я оказался в мире мессианской надежды, где у судьбы было скрытое маской лицо Нищего, где всякое действие имело смысл, где ни единый взгляд не был случайным.

Я вспомнил о том, что когда-то говорил мой старый учитель с пожелтевшей бородой, когда объяснял смысл шестой заповеди: почему человек не вправе убивать? Потому что, - объяснял он - убивая, человек становится Богом. А мы не имеем права становиться им слишком легко.

«Что ж, - подумал я. - Если нужно стать Богом, чтобы изменить ход нашей истории, мы Им станем. И посмотрим, легко ли это». Нет, оказалось, что это нелегко.

В первый раз, когда я принял участие в террористической акции, мне пришлось сделать над собой нечеловеческое усилие, чтобы подавить рвоту.

Я внушал ужас самому себе.

Я посмотрел на себя из своего прошлого. И увидел себя в форме, в темно-серой форме СС.

В первый раз...

... Они бежали как белки, как пьяные белки, в поисках дерева или хотя бы куста, чтобы за ним спрятаться. Казалось, у них нет ни головы, ни рук, а только ноги. И эти ноги бежали, бежали, как белки, опьяневшие от вина и боли. Но мы уже были рядом. Мы окружили их огненным кольцом, из которого они не могли вырваться. Мы были рядом, со своими автоматами, и наши пули образовали огневую стену, о которую с предсмертными стонами разбивались их жизни. Я не забуду эти стоны до конца своих дней.

Нас было шестеро. Пятерых остальных я не знал. Знал лишь, что Гада с нами нет. В тот день он остался в школе, как бы желая показать нам свое доверие и словно говоря: «Идите, теперь вы сумеется справиться и без меня». Итак, он оставался в школе. А я и пять моих товарищей пошли, чтобы убивать или быть убитыми.

- Желаю удачи, - сказал Гад, пожимая нам руки. - Я буду ждать вашего возвращения.

Меня впервые послали на боевую операцию. Я знал, что вернусь - если вообще вернусь - совсем другим человеком. Мне предстояло пройти крещение огнем и кровью. Я не сомневался, что буду чувствовать себя совершенно по-новому, но не подозревал, что новое самоощущение вызовет у меня тошноту.

Наша задача состояла в том, чтобы напасть на военный транспорт на дороге из Хайфы в Тель-Авив. Место: поворот у деревни Гедера. Время: ранний вечер.

Изображая возвращающихся домой рабочих, мы прибыли на место за полчаса до назначенного времени. Не следовало появляться слишком рано, чтобы не привлекать к себе внимания.

Мы установили мины по обе стороны поворачивавшей там дороги и заняли позицию в соответствии с заранее разработанным планом. В пятидесяти метрах оттуда стоял грузовик, который должен был отвезти нас в Петах-Тиква, где нас ждали еще три машины, чтобы тремя отдельными группами везти на базу - в школу.

Ровно в назначенное время прибыл к месту транспорт: три открытых грузовика привезли человек двадцать солдат. Ветер трепал их волосы. Солнце било им в глаза. Подъехав к повороту, первый грузовик подскочил на одной из наших мин. Два других резко остановились, пронзительно завизжали тормоза.

Солдаты начали спрыгивать на землю, а мы в это время, пользуясь своим удобным положением, открыли по ним перекресный огонь. Они бросились бежать в разные стороны, опустив голову, но наши пули ударяли их по ногам, как гигантский серп, и они со стоном падали на землю.

Весь эпизод длился не более минуты. Мы отступили в полном порядке. Все прошло как по маслу. Это была удачная операция. Гад дожидался нас в школе. Мы доложили ему об операции. Его лицо сияло. Он гордился нами. - Великолепно! - произнес он с восторгом. - Старик не поверит своим ушам.

Именно в тот момент я и ощутил, что к горлу внезапно подступила рвота. У меня перед глазами бежали ноги, похожие на пьяных белок, и я внушал ужас самому себе.

Я вспомнил эсэсовских солдат в польских гетто. Именно так они и убивали евреев, день за днем, ночь за ночью. То тут, то там раздавалась автоматная очередь. Офицер, смеясь или что-то жуя, отдавал короткий приказ: Feuer*. И огненный серп принимался резать головы и ноги. Некоторые евреи пытались вырваться из кольца, но разбивали головы о непреодолимую огненную стену. Они бежали, тоже бежали, как белки, опьяневшие от вина и боли, и смерть резкими ударами била их по ногам...

* * *

Нет, стать Богом оказалось нелегко, особенно когда для этого требовалось надеть темно-серую эсэсовскую форму. И все же это было гораздо легче, чем казнить заложника. Во время первой операции и тех, что последовали за ней. я был не один. Конечно, я убивал, но делал это вместе со своей группой. Ни разу в одиночку. С Джоном Досоном я буду один. Я посмотрю ему в лицо, а он увидит мое и заметит, что я весь состою из глаз.

- Не мучайся, Элиша, - сказал Гад, которые выключил приемник и уже некоторое время наблюдал за мной. - Это война.

Мне хотелось спросить его: а может Бог - бог войны - тоже носит форму? Но я промолчал. Я подумал: Бог не носит форму. Он , скорее всего, участник Сопротивления. Бог - террорист.

* * *

Илана пришла за несколько минут до начала комендантского часа в сопровождении личной охраны - Йоава и Гидона. Грустная и встревоженная, она была еще прекраснее, чем всегда. Сердце сжималось при виде ее тонкого, словно выточенного из золотистого мрамора лица, - столько в нем было нежности и печали. На ней была белая блузка и серая юбка. Ее губы были бледнее обычного.

- Передача была потрясающая ! - воскликнул Гад.

- Текст написал Старик, - ответила Илана.

*** Огонь *(нем.)***

- Я говорю о твоем голосе.

- И голос мой тоже создал Старик, - сказал девушка.

Она без сил опустилась в кресло.

- Сегодня я видела, как он плачет, - сказала она после общей паузы. - Думаю, он часто плачет.

«Счастливый, - подумал я. - Ему везет, он может плакать. Ведь тот, кто плачет, знает, что когда-нибудь он перестанет плакать».

Йоав сообщил нам последние новости из Тель_Авива: всеобщее тревожное ожидание. Люди испугались. Опасаются репрессий против населения. Все газеты напечатали обращение, в котором умоляют Старика отказаться от казни Джона Досона. На улицах больше говорят о нем, чем о Давиде бен Моше.

- Потому-то Старик и плакал, - сказал Гад, откидывая со лба упрямо падавшую прядь. - Евреи все еще не освободились от психологии гонимых. Решительные действия внушают им страх.

Йоав продолжал:

- В Лондоне заседает кабинет министров. В этот самый момент в Нью-Йорке проходит мощная демонстрация сионистов. ООН сильно встревожена.

- Надеюсь, он обо всем этом знает, - сказала Илана. Она сильно побледнела, и ее лицо приобрело бронзовый оттенок.

- Палач непременно ему сообщит, - ответил Гад.

Мне были понятны его боль и гнев. Они с Давидом были друзьями детства. Вместе присоединились к Движению, в один день. Гад рассказал мне об этом лишь после ареста Давида. Раньше это могло быть небезопасно. Чем меньше знаешь, тем лучше. Это важнейший принцип деятельности всех подпольных организаций.

Давида ранили в присутствии Гада. Именно Гад и руководил той операцией. Предполагалось, что это будет одна из «спокойных» акций, как мы их называли. Все испортил часовой.

Да, всему виной была глупая отвага часового. Именно из-за нее завтра на рассвете будет повешен Давид бен Моше. Уже раненный, извиваясь в конвульсиях, солдат полз с пулей в животе и упорно продолжал стрелять, идиот! Нет ничего хуже, ничего опаснее отважного дурака!

* * *

... Это было вечером, на юге, недалеко от Гедеры. У въезда в лагерь десантников остановилась военная машина. В ней сидели майор и трое солдат.

- Мы приехали за оружием, - сказал майор часовому. - Сегодня ночью ожидается нападение террористов.

Часовой внимательно изучил протянутые майором документы. Бумаги как будто были в порядке.

- Да, сволочи эти терротисты, - проворчал часовой, возвращая документы майору. - Ладно, майор. можете проезжать.

Он поднял шлагбаум.

- Спасибо, - сказал майор. - А где склады?

- Езжайте все время прямо, потом два раза повернете налево. Машина поехала прямо, дважды повернула налево и остановилась перед

каменным строением.

- Приехали, - объявил майор.

Все спрыгнули на землю. Дверь открыл сержант. Увидев майора, отдал ему честь. Майор ответил на приветствие и протянул бумагу-ордер, подписанный полковником: предоставить подателю сего двадцать автоматов, двадцать винтовок, двадцать револьверов и соответствующую амуницию.

- Сегодня ожидается нападение террористов, - снисходительно пояснил майор.

- Чертовы террористы, - пробормотал сержант.

- Мы спешим, - торопил майор. - Пожалуйста, выдайте нам все, что следует.

- Разумеется, - ответил сержант. - Понимаю, что торопитесь. Он указал троим солдатам место, где лежало оружие. Погрузка заняла считанные секунды. Молчаливые солдаты работали быстро и ловко.

- А ордер я оставлю себе, - решил сержант, когда все было закончено.

- Конечно, сержант, - ответил майор и сел в машину, которая тут же отъехала. На выезде часовой поприветствовал их и заторопился открывать шлагбаум, но в это время в его будке зазвонил телефон. Он извинился и вернулся к телефону. Майор и солдаты ждали его возвращения с тревожным нетерпением.

- Извините, майор, - сказал, вернувшись солдат. - Вас спрашивает сержант. Просит вернуться. Говорит, ему что-то неясно с вашим ордером. Майор вышел из машины.

- Я объясню ему по телефону, - сказал он солдату.

Когда часовой повернулся, чтобы идти в будку, кулак майора ударил его в затылок. Он упал, даже не вскрикнув. Гад подошел к шлагбауму, поднял его и дал шоферу знак проезжать.

В этот момент часовой пришел в себя и начал стрелять. Пуля Дана попала ему в живот. Гад вскочил в машину и крикнул:

- Уходим. Быстрее!

Несмотря на ранение, часовой продолжал стрелять; одна из пуль попала в шину. Гад не терял самообладания. Он решил сменить колесо.

- Давид и Дан, прикрывайте нас, - сказал он спокойно и уверенно. Давид и Дан взяли два из только что полученных автоматов и спрыгнули на землю.

Лагерь поднялся по тревоге. Со всех сторон слышались приказы, а за ними следовала стрельба. Действовать надо было быстро. На счету была каждая секунда.

Под прикрытием Давида и Дана Гад сменил колесо. Но они уже попали под плотный обстрел противника. Гад решил: надо спасать оружие.

- Давид и Дан, - проговорил Гад: - Вы остаетесь. Мы уходим. Постарайтесь задержать их ровно на три минуты. За это время мы успеем уйти. А потом - спасайтесь. Попробуйте добраться до Гедеры. Там у нас надежные друзья. Вы их знаете.

- Знаю, - сказал Давид, продолжая стрелять. - Быстрее уходите.

Оружие уцелело. Давид и Дан - нет. Дан был убит, Давид ранен. Да, нет

ничего опаснее человека с пулей в животе.

* * *

- Давид был замечательный парень, - сказала Илана. Она уже говорила о нем в прошедшем времени.

- Надеюсь, палачу это известно, - ответил Гад.

Я понимал его гнев и завидовал ему. Тяжело терять друзей. Но, когда теряешь их ежедневно, уже не так тяжело. А я потерял много друзей. Иногда все мое прошлое представляется мне сплошным кладбищем. В сущности, именно потому-то я и последовал за Гадом в Палестину и стал террористом: не осталось друзей, мне больше некого было терять.

- Говорят, палач всегда надевает маску, - неожиданно сказал Йоав, до тех пор молча стоявший у кухонной двери. - Интересно, это правда?

- Думаю, да, - сказал я. - Палач всегда бывает в маске. Видны только глаза.

Илана встала, подошла к Гаду, с печальной нежностью погладила его по волосам и сказала:

- Не мучайся, Гад. Это война.

* * *

В течение следующего часа никто не произнес ни слова. Они все думали о Давиде бен Моше. В пустой камере смертника он не был одинок. С ним были они. Все, кроме меня. А я не думал о Давиде. Я вспоминал о нем, лишь когда о нем говорили другие. Когда же они молчали, мои мысли обращались к другому человеку, которого я тоже не знал, но которого мне предстояло узнать. Да, в ту ночь у моего Давида бен Моше было имя и лицо английского капитана Джона Досона.

Мы сели за стол, и Илана налила нам горячего чаю. Мы долго пили его, не произнося ни слова, глядя на золотистую жидкость в чашках, словно надеясь увидеть в ней конец нашего молчания или смысл вызвавших его событий. Потом, чтобы убить время, мы принялись рассказывать друг другу истории из своего прошлого, главной темой которых была смерть.

- Мою жизнь спасла смерть, - начал Йоав.

У него было молодое, чистое, но измученное лицо, темные, смущенно смотревшие глаза и седые, как у старика, волосы. Он всегда хотел спать и зевал с утра до ночи.

- Меня выдал сосед, который был пацифистом и поэтому против нас. Я спрятался в психиатрической лечебнице, директором которой был мой школьный товарищ, - продолжал Йоав. - Я провел там две недели. Но полицейские все же напали на мой след. «Он у вас?» - спрашивают они директора. «Да, - говорит. - А где же еще ему быть? Он же болен». - «А что с ним? Чем болен?» - «Он думает, что умер». Они упорно хотели меня видеть. И вот меня привели в кабинет директора. Там меня ожидали два полицейских офицера, занимавшихся борьбой с терроризмом. Они со мной заговорили. Я не ответил. Они задали несколько вопросов. Я не реагировал. Это их не удовлетворило. Несмотря на протесты директора лечебницы, они увезли меня с собой и в течение двух суток держали на допросе. Я притворялся мертвым и делал это успешно. Я отказывался от еды и питья: ведь мертвые не едят и не пьют. Меня били по рукам

и лицу, но я не стонал: ведь мертвым не больно и они не стонут. К концу вторых суток меня отослали обратно в лечебницу.

Слушая его, я стал что-то вспоминать. В самом деле, я не раз замечал, что товарищи называют Йоава Идиотом. - Это правда забавно, - проговорил он. - Забавно, что смерть спасла мне жизнь.

Мы несколько секунд помолчали, словно отдавая дань смерти, которая спасает жизнь и дает имя Идиота юноше с чистым и измученным лицом.

- Когда несколько дней спустя я вышел из лечебницы, - добавил Йоав, - то заметил, что мои волосы из черных стали белыми.

- Это одна из забав смерти, - подтвердил я. - Она обожает менять цвет волос. У самой смерти нет волос, у нее есть только глаза, она вся состоит из глаз. А у Бога их нет.

- Меня от смерти спас Бог, - сказал Гидон. Мы звали его Святым. Во-первых, потому что он действительно был святым, а во-вторых, потому что у него была внешность святого. Это был высокий молчаливый юноша лет двадцати, всегда старавшийся привлекать к себе как можно меньше внимания. Его губы постоянно шептали молитвы. Он носил бороду и пейсы и всегда имел при себе молитвенник. Его отец был раввином. Узнав, что сын решил стать террористом, он одобрил и благословил его. При этом раввин сказал, что бывают времени, когда для борьбы со злом недостаточно одних лишь слов и молитв. Бог милосердия - это еще и Бог войны. А на войне словами не обойдешься.

- Меня спас от смерти Бог, - повторил Гидон. - Спасли Его глаза. Я тоже был арестован, и меня жестоко пытали полицейские. Дергали за бороду, поджигали ногти, плевали в лицо. Они хотели, чтобы я сознался в том, что участвовал в покушении на Верховного комиссара. Я молчал. Они мучали меня. Несколько раз я готов был закричать, но не сделал этого, потому что думал: «На меня смотрит Бог. На мне Его взгляд. Я не могу Его разочаровать». Полицейские все кричали не переставая. А я думал о Боге и о Его взгляде, который всегда прикован к человеческому страданию, и молчал. В конце концов полицейским пришлось отпустить меня за неимением улик. Если бы я сознался, меня приговорили бы к смертной казни.

- И тогда, - добавил я, - Бог закрыл бы глаза.

Илана налила нам еще чаю.

- А тебя, Илана, - спросил я, - что спасло от смерти тебя?

- Насморк.

Я рассмеялся, но никто меня не поддержал. Мой смех прозвучал хрипло и неестественно.

- Насморк, - подтвердила она серьезно. - У англичан не было описания моей внешности. Они знали только голос. Однажды они задержали сотню женщин, среди которых была и я, и привезли нас в полицию. Там от нас требовали только одно: говорить. Инженер-акустик сравнивал наши голоса с голосам таинственного диктора *Голоса Свободы*. По счастливой случайности у меня был насморк. Четырех женщин оставили в полиции для более подробного допроса, а меня отпустили. Я очень хотел засмеяться, но остальные были по-прежнему серьезны

и молчаливы. Я подумал: «Насморк иногда полезнее, чем вера или мужество».

Теперь мы все внимательно смотрели на Гада, который так крепко сжимал в руке чашку, что казалось, ее раздавит.

- Думаю, - сказал Гад, - что обязан жизнью трем англичанам. - Склонив голову к правому плечу и пристально глядя в чашку, он словно бы обращался только к остывавшему чаю. - Это произошло в самом начале. Старик велел взять трех заложников. Сейчас уже неважно зачем. Все трое оказались сержантами. Я получил приказ казнить одного из них - все равно кого. Жертву я должен был выбрать сам. Я был молод, как сейчас Элиша. Меня мучила навязанная мне роль, я не знал, что делать. Я не хотел быть судьей. Палачом - да. Судьей - нет. К тому же в ту ночь нарушилась связь со Стариком, так что я не мог ни сообщить о своем нежелании выполнить приказ, ни объяснить свои чувства. Я знал одно: на рассвете один из трех заложников должен умереть. Но кто именно? Наконец я принял решение. Я спустился в подвал и приказал сержантам самим назначить жертву. «Если вы откажетесь, - сказал я, - то будете расстреляны все трое». Они не возражали. Бросили жребий. На рассвете тот, кого принесли в жертву, получил пулю в затылок.

Я невольно взглянул на его руки, руки человека, расстрелявшего другого человека, потом я посмотрел на его лицо, лицо друга, убившего человека и теперь говорившего об этом холодно, почти равнодушно. Различал ли он на золотистой поверхности остывшего чая лицо расстрелянного сержанта?

- А что было бы, спросил я, - если бы сержанты отказались тянуть жребий?

Гад еще крепче сдавил в руках чашку. Казалось, он хочет ее сломать. - Думаю, я покончил бы с собой, - ответил он глухо. Потом после тяжелого молчания добавил: - Я же говорю, что был молодым и слабым. Все посмотрели на меня. Пришла моя очередь рассказывать. Я отпил чаю - он был невероятно горький, - вытер со лба пот и начал:

- Мою жизнь спас смех. Это случилось в Бухенвальде зимой. Мы были одеты в лохмотья. Сотни людей ежедневно умирали от холода. Каждое утро мы должны были выходить из блока на время уборки и ждать снаружи, на снегу. Уборка часто занимала более двух часов. Однажды я спрятался в блоке: я был болен и слаб. Я знал, что если выйду, то умру прямо на месте, среди снега и ветра. Поэтому я спрятался. Началась уборка, и меня конечно же обнаружили. Уборщики притащили меня к одному из многочисленных помощников старосты блока. Ни слова ни говоря, он схватил меня за горло и спокойно, почти равнодушно объявил: «Я тебя задушу». И в самом деле, две его стальные руки начала смертельной хваткой сжимать мне горло. У меня все равно не хватило бы сил вырваться, и потому я даже не пытался сопротивляться. Я подумал: конец. Я чувствовал, как кровь приливает к голове, а та начинает непомерно раздуваться. Сначала она увеличилась в пять раз, потом в десять, а затем в целых сто раз. Моя голова раздулась до таких невероятных, немыслимых размеров, что вид у меня стал совершенно карикатурный, трагикомический. Я был уверен, что вот-вот моя превратившаяся в воздушный шар голова лопнет, что через секунду она взорвется и разлетится на мелкие кусочки, подобно тому как лопаются разноцветные шары в летний день. В этот момент помощник старосты взглянул

на шар, который держал в своей руке и это зрелище показалось ему настолько комичным, что он отпустил мою шею и разразился хохотом. Он хохотал весь день и смеялся так, что забыл о своем намерении убить меня. Так я был спасен. Не правда ли, забавно, что человеческую жизнь может спасти чувство юмора убийцы?

Я ожидал, что все станут смотреть на мою голову, чтобы проверить, вернулась ли она к своим нормальным размерам, но никто этого не сделал. Все продолжали смотреть на золотистый чай, который за это время уже совсем остыл. Несколько минут все молчали. Нам больше не хотелось говорить, вслух вспоминать о прошлом или слушать рассказы о чужих жизнях и невзгодах. В тревожном молчании мы сидели за столом. Думаю, каждый из нас спрашивал себя: «А что же спасло мне жизнь на самом деле?»

Святой первым нарушил молчание.

- Надо бы отнести ему поесть, - предложил он. »Ему тоже грустно, - подумал я, - он думает о Джоне Досоне. Невозможно быть грустным и не думать о нем». Я был уверен, что Давид тоже думает о Джоне Досоне.

- Он не голоден, - возразил я. - Человек, которому предстоит умереть, не хочет есть. («Как и тот, кому предстоит его убить», - добавил я про себя).

Должно быть, в моем тоне было что-то необычное, потому что все вдруг подняли головы, и я ощутил на себе их удивленные взгляды.

- Нет, - настаивал я, - приговоренный к смерти не может быть голоден.

Они не шевелились. Они окаменели. Медленно, бесконечно медленно тянулись секунды.

- Последняя трапеза смертника, - воскликнул я, - это насмешка, издевательство, надругательство над трупом, которым он скоро станет. Человеку плевать, умрет он с пустым брюхом или с полным.

Гад смотрел на меня удивленно. Илана - ласково. Святой - дружелюбно. А Йоав вообще не смотрел. Он молчал, опустив глаза. Но, может, это он так на меня смотрел - с опущенными глазами?

- Он не знает, - заметил Гидон.

- Чего не знает?

Не знаю, почему я кричал. Может быть, чтобы слышать свой крик, чтобы пробудить в себе гнев, чтобы видеть его отражение в зеркале и в неподвижных тенях на стене. А может, просто от бессилия. Я чувствовал, что не в силах ничего изменить, в том числе самого себя. Мне хотелось изменить эту комнату, переделать все Творение. Я сделал бы Святого идиотом, имя Джона Досона дал бы Гаду, его судьбу - Давиду. Но я знал, что не в силах этого сделать. Ведь для этого им необходимо было бы стать смертью, смертью вообще, а не просто одной из смертей - смертью английского капитана, который не был голоден, потому что не был голоден я.

- Чего он не знает? - повторил я громко, слишком громко.

- Он еще не знает, - объяснил Гидон с бесконечной нежностью и печалью в голосе. - Он не знает, что ему предстоит умереть.

- Его желудок знает, - уверенно возразил я. - Тот, кому предстоит умереть, прислушивается только к своему желудку. Этим он похож на нищего. Его не

интересует ни его собственное сердце, ни ваше, ни его прошлое, ни ваше. Он не слушает ни голоса неба, ни бури. Он слушает лишь голос желудка, и этот голос говорит ему о скорой смерти и о том, что он не голоден.

Я произнес эти слова очень быстро и громко. Я задыхался. Мне хотелось убежать из этой комнаты, но меня не отпускали направленные на меня взгляды. Смерть охраняла все выходы. Повсюду были глаза.

- Я спущусь в подвал, - сказал Гидон. - Спрошу, хочет ли он есть.

- Ни о чем не спрашивай, - возразил я. - Предупреди его, просто предупреди его, что завтра, когда над кровавым горизонтом встанет огненный рассвет, он, Джон Досон, простится со своей жизнью и со своим желудком. Скажи ему, что он умрет.

Не сводя с меня глаз, Святой медленно встал и направился в кухню, откуда собирался спуститься в подвал. На пороге он остановился.

- Я скажу ему об этом, - пообещал Гидон с едва уловимой улыбкой, которая тут же погасла. Он повернулся на каблуках и я услышал, как он спускается по лестнице. Я был ему благодарен. Ведь он вместо меня предупредит Джона Досона о скором конце. Я никогда не смог бы этого сделать. Легче убить человека, чем сказать ему: ты умрешь.

- Полночь, - объявил Йоав.

«Полночь, - подумал я. - В этот час мертвые встают из могил и приходят в синагогу читать молитвы. В этот час сам Бог плачет о разрушении Храма. В этот час человек должен суметь проникнуть в глубь самого себя. И если он сделает это достаточно быстро, то найдет в этой глубине резарушенный Храм, плачущего Бога и молящихся мертвецов».

- Бедный мальчик! - прошептала Илана. Она не смотрела на меня. Нет, на меня гладела не она и не ее глаза, а ее слезы. Ее слезы следили за моим лицом. Я чувствовал, что на меня смотрят, касаются меня и ласкают не глаза, а слезы Иланы.

- Пожалуйста, не говорите так, Илана. Не называйте меня бедным мальчиком.

В ее глазах стояли слезы. Точнее, у нее были слезы вместо глаз, и эти слезы росли, увеличивались, становились все более плотными и тяжелыми, все менее прозрачными, и я вдруг испугался, что сейчас случится несчастье: еще секунда, и Иланы не станет. Смуглая и печальная девушка утонет в собственных слезах. Мне захотелос коснуться ее руки и сказать: «Не плачьте. Говорите что угодно, только не плачьте».

Но она не плакала. Чтобы плакать, надо иметь глаза. А у нее их не было. На месте глаз у нее были слезы.

- Бедный мальчик! - повторила она.

Вот тогда-то и произошло то, чего я опасался. Иланы не стало, а на ее месте паявилась Катрин. Я не понимал, зачем она пришла, но само ее присутствие не слишком меня удивило. Она любила общество мужчин, особенно маленьких мальчиков, думающих о смерти. Ей нравилось говорить о любви мальчикам, а поскольку идущие на смерть мужчины становятся маленькими мальчиками, ей нравилось говорить им о любви. Поэтому ее присутствие в заколдованной

комнате (заколдованной потому, что она уничтожала все границы, все различия между жертвой и палачом, между настоящим и прошлым) - ее присутствие, как я уже сказал, нисколько меня не удивляло.

Мы познакомились в Париже в 1945 году. Я прибыл туда из Бухенвальда, который тоже был заколдованным местом, потому что там живые превращались в мертвецов, а будущее - в дым.

Я был слабым, изможденным, голодным. Одна из многочисленных организаций помощи беженцам послала меня в летний лагерь, в котором проводили каникулы около сотни мальчиков и девочек. Это было в Нормандии, где утренний ветер шелестит точно так же, как в Палестине. Я не знал французского и потому не мог общаться с другими детьми. Я ел и загорал вместе с ними, но мы не разговаривали.

Катрин была единственным человеком с которым мы время от времени обменивались несколькими словами. Мы оба знали немецкий.

Иногда в столовой она подходила к моему столу, спрашивала, хорошо ли я спал, как себя чувствую, нравится ли мне в лагере. Она была гораздо старше, ей было лет двадцать шесть - двадцать семь. Она была небольшого роста, хрупкая, почти прозрачная, с шелковистыми белокурыми волосами, пронизанными солнечным светом. Ее задумчивые глаза никогда не плакали. Продолговатое лицо Катрин было худым, даже костлявым, и тем не менее его черты оставались тонкими и благородными.

Катрин была первой женщиной, которую я видел вблизи. Прежде - я имею в виду до войны - я не смотрел на женщин. На улице, по пути в школу или синагогу, я ходил, опустив глаза, держась стен домов, и женщин не видел. Я знал, что они существуют, даже знал почему, но я никак не подозревал, что у них есть тело, грудь, ноги, губы, руки, прикосновение которых заставляет сердце биться быстрее. Все это открыла для меня Катрин.

Лагерь располагался на опушке леса, и по вечерам, после ужина, я любил гулять в одиночестве, разговаривать с ветром, который перешептывался с деревьями, наблюдать, как небо из лазурно-голубого становится темно-синим; короче, я любил одиночество. Однажды Катрин попросила разрешения сопровождать меня на вечерней прогулке. Я был очень застенчив и не смог ей отказать. Мы молча шагали рядом полчаса, час... Сначала это молчание меня смущало, потом я с удивлением заметил, что оно мне приятно. Когда молчат двое, молчание плотнее и глубже, чем когда молчит один. Незаметно для себя самого я заговорил с Катрин.

- Посмотрите на небо, - сказал я. - Оно раскрывается.

Она запрокинула голову и стала смотреть. И в самом деле, небо начало раскрываться. Звезды - поначалу медленно - стали отдвигаться от центра, словно их разгонял невидимый ветер. Одни двигались направо, другие - налево. Наконец в середине небосвода обрзовалось пустое пространство. Это была ослепительно-голубая пустота, которая постепенно становилась все чище и глубже и приобретала более четкие контуры.

- Смотрите, - сказал я Катрин. - Смотрите внимательно. Вы увидите, что там ничего нет.

Запрокинув голову, она молча смотрела на небо.

- Довольно, - сказал я. - Пойдемте.

Мы зашагали дальшей, и я рассказал ей легенду о раскрытом небе. Когда я был ребенком, мой старый учитель поведал мне, что бывают ночи, когда небеса раскрываются, чтобы дать дорогу молитвам детей. В одну из таких ночей маленький мальчик, чей отец лежал при смерти, обратился к Богу: «Отец! Я еще маленький и не умею молиться. Поэтому я хочу сам стать молитвой, чтобы просить тебя исцелить моего больного, умирающего отца». И Бог исполнил просьбу мальчика: его отец выздоровел, но сам ребенок превратился в молитву, поднялся на небо и остался там навсегда. С тех пор, говорил мой учитель, Бог иногда открывает нам Себя в лице ребенка.

- Вот почему, - объяснил я, - я часто наблюдаю за тем, как раскрывается небо. Я хочу увидеть ребенка. Но вы свидетель: там ничего нет. Ребенка нет.

Тут она произнесла первые за вечер слова.

- Бедный мальчик!.. Бедный мальчик!

«Она думает о ребенке, - решил я. - Она говорит «Бедный мальчик», потому что думает о том ребенке». И я почувствовал, что люблю ее за это.

После того вечера Катрин часто ходила со мной в лес. Она расспрашивала меня обо мне самом, о детстве, о прошлом. Но я не всегда отвечал не ее вопросы.

В один из вечеров она спросила меня, почему я держусь в стороне от других мальчиков и девочек в лагере.

- Они говорят на непонятном языке, - сказал я.

- Некоторые девочки говорят по-немецки, - заметила она.

- Мне нечего им сказать, - возразил я.

- Вовсе необязательно с ними разговаривать, - настойчиво продолжала она с улыбкой. - Их надо любить.

Я не понимал, что она имеет в виду, и сказал ей об этом. Все больше улыбаясь, Катрин стала говорить мне о любви. Она говорила много и хорошо. Любовь - то, любовь - другое. Мужчина рождается только для любви, он живет только в любви и лишь в присутствии женщины, которую любит или которая заслуживает любви.

Я ответил, что ничего не знаю про любовь, сомневаюсь, что она существует или имеет право на существование.

- Я докажу тебе это, - уверенно сказала она.

На следующий день, когда мы гуляли по усыпанным шуршащими листьями тропинкам, она взяла меня под руку. Сначала я подумал, что она просто хочет опереться на меня. Но дело было не в этом. В действительности она хотела, чтобы я ощутил теплоту ее тела. Потом она сделал вид, будто устала: ей бы хотелось посидеть на траве, вон под тем деревом. Усевшись на траву, она стала гладить меня по лицу и волосам. Затем она принялась меня целовать: сначала ее губы коснулись моих, а затем ее язык обжег мне рот.

В следующие вечера мы возвращались на то же место, и она снова и снова говорила мне о любви, о желании, о тайнах сердца. Она брала мою руку и водила ею по своему телу - по бедрам, и груди. Тогда-то я впервые узнал, что у женщины есть тело, бедра, груди, руки, что от всего этого сердце бьется

учащеннее и в висках жарко стучит кровь.

Потом настал последний вечер. Каникулы кончились, и на следующий день я должен был возвращаться в Париж.

Сразу же после ужина мы пошли в последний раз посидеть под своим деревом. Мне было грустно, и я уже опять чувствовал себя одиноким. Катрин держала мою руку в своей и молчала. Ночь была прекрасная, спокойно-безмятежная. По временам ветер своим горячим дыханием ласкал наши лица, волосы, спины. Был час или два ночи, когда Катрин нарушила полчание и, обратив ко мне свое тонкое, исполненное грусти лицо, сказала:

- Сейчас мы займемся любовью. Ее слова привели меня в трепет. Мне предстояло сделать это впервые в жизни. До сих пор на земле не было женщины. Я не знал, ни что говорить, ни что делать. Я боялся сказать не те слова или сделать неверное движение. В смущении я неподвижно ожидал, чтобы что-нибудь сделала она. Ее лицо внезапно приняло очень серьезное выражение, и она начала раздеваться. Она сняла блузку, и при свете звезд я увидел ее белые груди, словно выточенные из слоновой кости. Потом она сбросила все остальное и предстала передо мной совершенно нагая.

- Сними рубашку, - приказала она. На меня будто нашел столбняк. В горле стоял железный ком, все тело налилось свинцом. Пальцы не слушались меня. Я мог лишь неподвижно смотреть на ее обнаженное тело, оглядывать его с ног до головы, следить за тем, как вздымается и опускается ее грудь. Я был заворожен призывом, исходившим от этого распростертого тела.

- Сними рубашку, - повторила она. Видя мою неподвижность, она принялась сама меня раздевать. Спокойными движениями она сняла с меня рубашку и шорты. Затем снова легла на траву и сказала:
- Возьми меня.

Я встал на колени. Я долго смотрел на нее, а потом принялся осыпать ее тело поцелуями. Рассеянно, с отсутствующим видом, она гладила меня по волосам.

- Катрин, - произнес я, - прежде я должен вам кое-что сказать. На ее лице возникло и замерло выражение тоски. В шуме ветра тоже зазвучала тоска.

- Нет, нет! - вскрикнула она. - Ничего не говори. Возьми меня и ничего не говори. Не обращая внимания на ее протесты, я продолжал:

- Прежде, Катрин, я должен вам сказать... Ее рот сжался от боли, и в шуме ветра тоже послышалась боль.

- Нет! Нет! Нет! - умоляла она. - Ничего не говори. Молчи. Молчи. Возьми меня. Скорее возьми меня и ничего не говори. Я настаивал:

- Я должен сказать вам, Катрин, что вы победили. Я люблю вас. Я люблю вас, Катрин.

Она разрыдалась, без конца повторяя одни и те же слова:
- Бедный мальчик!.. Бедный мой мальчик!..

Тогда я схватил рубашку и шорты и убежал. Я все понял. Когда она это говорила, то имела в виду вовсе не ребенка на небе, а меня.

Она говорила мне о любви, потому что знала: я тот ребенок, который стал молитвой и поднялся на небо. Она знала, что я умер и вернулся на землю

мертвым.

Вот почему она говорила мне о любви. Вот почему она хотела заниматься со мной любовью. Да, я понял: ей нравилось делать это с маленькими мальчиками, которым вскоре предстояло умереть Ей нравилось быть с теми, кто думает только осмерти. Нет, ее присутствие в ту ночь в Палестине совсем меня не удивляло.

- Бедный мальчик, - совсем тихо в последний раз прошептала Илана. Потом она глубоко вздохнула, и из ее глаз хлынули слезы, которые текли, текли, текли бесконечно, до конца времен.

* * *

Я вдруг почувствовал, что в комнате жарко. Гораздо жарче и душнее, чем прежде. Я задыхался.

Это было вполне естественно. Комната была слишком маленькой и тесной. Она не была рассчитана на столько народу, на столько посетителей одновременно. А после полуночи они все время прибывали. Среди них были те, кого я знал, те, кого я ненавидел, кем возмущался, кого забыл. Оглянувшись вокруг, я понял, что здесь присутствуют все, кто когда-либо участвовавл в формировании того, кем я стал, моего подлинного и неизменного «я». Одни из них были мне знакомы, других я не мог вспомнить, - у них были безымянные лица и безликие имена. Но в то же время я знал, что в какой-то момент жизни встречал их на своем пути.

Конечно, там был отец. И мама тоже. Был там и Нищий. Солдаты, на которых мы напали около Гедеры, тоже пришли. Пришел и мой старый учитель с пожелтевшей бородой. И среди них друзья, братья, товарищи - те, кого я знал в детстве, и те , кто на моих глазах в Бухенвальде и Освенциме жили и умирали, верили и проклинали Бога.

Рядом с отцом я увидел мальчика, странным образом похожега на меня, каким я был до лагеря, до войны, до всего. Отец улыбнулся мальчику, а тот - над всеми разделявшими нас головами - послал эту улыбку мне.

Теперь я понял, почему в комнате стало так душно. Она была слишком маленькой и тесной, чтобы вместить столько народу сразу. Я пробился сквозь толпу к мальчику и поблагодарил его за улыбку. Я хотел спросить его, зачем сюда пришли все эти люди, но решил, что это будет невежливо по отношению к отцу. Раз он был тут, следовало прежде обратиться к нему.

- Отец, спросил я, - что здесь делают все эти люди?

Мама, стоявшая рядом, была очень бледна, а ее губы беспрестанно шептали: «Бедный мальчик, бедный мальчик, бедный мальчик...»

- Отец, - сказал я опять. - Ответь мне. Зачем вы пришли сюда?

Он посмотрел на меня своими большими глазами, в которых я часто видел раскрывающееся небо, и не ответил. Я обернулся назад и оказалсся лицом к лицу с учителем, чья борода пожелтела еще больше.

- Учитель, зачем сегодня ночью сюда пришли все эти люди?

У себя за спиной я слышал мамин шепот: «Бедный мальчик, бедный мальчик!»

- Ну же, учитель, - повторил я, - ответьте мне. Прошу вас, учитель,

пожалуйста, ответьте.

Он тоже не отвечал. Казалось, он даже не слышит моего вопроса. Его молчание меня испугало. Учитель, каким я знал его раньше, всегда оказывался рядом в трудную минуту. Тогда его молчание мне помогало. Теперь оно внушало мне страх. Я попытался посмотреть ему в глаза, но на месте глаз у него было два огненных шара, два солнца, и они обжигали мне лицо.

Я отвернулся и стал по очереди подходить ко всем собравшимся в поисках ответа, но при моем приближении они немели. Наконец я оказался перед Нищим, который из-за своего роста значительно возвышался над всем этим странным собранием. Он сам заговорил со мной:

- Не правда ли, у этой ночи много лиц?

Я ощутил страшную усталость.

- Да, слабо ответил я. - У этой ночи много лиц. И я хотел бы знать почему. Ах, господин Нищий, если вы тот, кем я вас считаю, объясните мне все это, успокойте меня. Скажите мне, что означают молчание, взгляды и присутствие всех этих людей. Объясните мне, господин Нищий, потому что я больше не могу. Не могу.

Он взял меня за руку, ласково сжал ее и спросил:

- Видишь вон того мальчика?

Рукой он указал на мальчика, похожего на меня в прошлом.

- Вижу, - ответил я.

- Вот он и ответит на все твои вопросы. Иди поговори с ним. Иди, - сказал Нищий. (Теперь я был совершенно уверен: он не простой нищий).

Мне снова пришлось проталкиваться сквозь толпу теней и взглядов. Наконец, изнемогая и задыхаясь, я добрался до мальчика.

- Скажи мне, - умоляюще попросил я, - скажи мне: что ты здесь делаешь? А остальные? Что делают здесь все остальные?

Мальчик широко раскрыл удивленные глаза.

- Разве ты не знаешь? - спросил он.

Я ответил, что не знаю.

- Завтра умрет человек, верно?

Я подтвердил, что в самом деле завтра на рассвете должен умереть человек.

- И казнишь его именно ты, верно? - продолжал он.

- Да, верно, мне поручено его казнить.

- И тем не менее ты не понимаешь? - удивился мальчик.

Нет, я не понимал.

- Но все очень просто! - воскликнул он. - Мы пришли, чтобы присутствовать при казни. Мы хотим посмотреть. как ты будешь это делать. Хотим увидеть, как ты превратишься в убийцу. Это ведь вполне естественное желание, правда?

- Почему естественное? Какое вам дело до казни Джона Досона?

- Ты сумма того, чем были все мы, - объяснил мальчик, напоминавший меня в прошлом. - А это значит, что завтра на рассвете мы тоже в какой-то мере будем участвовать в казни Джона Досона. Ты не можешь сделать этого без нас. Теперь понял?

Я начинал понимать. В абсолютном акте - таком, как убийство, - участвует

не только тот, кто его совершает, но и те, кто формировали его личность. Убивая, я и их делаю убийцами.

- Ну, - повторил мальчик, - теперь понял?

- Понял, - ответил я.

- Бедный мальчик, бедный мальчик, - прошептала мама. Ее губы приобрели тот же оттенок, что борода учителя.

* * *

- Он голоден, - объявил Гидон.

Я не слыхал, как он вернулся из подвала. У святых есть неудобная для окружающих манера все делать бесшумно: они ходят, смеются, едят, молятся беззвучно. Даже шумят они бесшумно.

- Этого не может быть, - возразил я.

Я подумал: «Не может быть, чтобы он хотел есть. Ему предстоит умереть. Тот, кому вскоре предстоит умереть, не может быть голоден». -

Он сам мне сказал, - взволнованно настаивал Гидон.

Все взгляды были направлены на меня. Илана больше не плакала. Йоав перестал рассматривать ногти. У Гада был утомленный вид. А все остальные, казалось, чего-то от меня ждали, не знаю, чего именно. Быть может, какого-нибудь знака или крика.

- Он знает? - спросил я Гидона.

- Да. Знает. - И через секунду добавил: - Я ему сказал.

Как он это воспринял?

Мне было важно знать его реакцию - был ли он поражен, остался ли спокоен или стал кричать, что невиновен.

- Он улыбнулся, - ответил Гидон. - Говорит, что уже знает. Ему сказал об этом желудок.

- И сказал тебе, что хочет есть?

Гидон спрятал за спину дрожавшие руки.

- Да, - повторил он. - Он так сказал. Сказал, что голоден и имеет право на последнюю трапезу.

Гад рассмеялся, но его смех звучал неестественно.

- Вот вам британское хладнокровие, - заметил он.

Его слова повисли в воздухе у нас над головами. Никто их не принял.

Отец строго посмотрел на меня. Его взгляд говорил: «Человек скоро умрет. А он голоден».

- Следует признать, - произнес Гад, - что у англичан железная выдержка. Переварят что угодно.

Это его замечание тоже осталось без ответа. У меня вдруг заболел живот. Я не ел весь день.

Илана встала и пошла на кухню.

- Сделаю ему что-нибудь поесть, - объявила она.

Я слышал, как она возится на кухне. Режет хлеб, открывает холодильник, варит кофе. Через несколько минут она снова появилась, в одной руке держа чашку кофе, а в другой - тарелку.

- Вот, - сказала она. - Это все, что я нашла: бутерброд с сыром и черный кофе.

Без сахара. - Она секунду помолчала и добавила: - Неважная трапеза, но ничего лучше нет. - Она помолчала еще несколько секунд и спросила: - Кто ему это отнесет?

Мальчик, стоявший рядом с моим отцом, посмотрел на меня пронзительным взглядом. У этого взгляда был голос, который говорил: «Ну давай. Отнеси ему поесть. Ты же знаешь, что он голоден».

- Нет, - ответил я мальчику. - Только не я. Я не хочу его видеть. Я не смогу смотреть, как он ест. Я предпочитаю в будущем думать о нем как о человеке, который никогда не ел. Я хотел добавить, что у меня спазмы желудка, но понял, что это не имеет значения. Вместо этого я сказал:

- Не хочу оставаться с ним наедине. По крайней мере, не сейчас.

- Мы пойдем с тобой, - предложил мальчик. - Ты же знаешь, что нехорошо отказывать в пище голодному. Да, я это знал. Конечно же знал. Я всегда предлагал хлеб голодным, не правда ли, господин Нищий? Разве я не предложил Вам хлеба? Но сегодня ночью все по-другому. Сегодня я не могу.

- Верно, - согласился мальчик. - Сегодня ночью все по-другому, и сам ты сегодня другой, вернее - станешь другим. Но это не имеет отношения к делу: человек хочет есть, и его надо накормить.

- Но он же завтра умрет! - воскликнул я. - Какая разница, умрет он сытый или голодный?

- Пока что он жив, - назидательно сказал мальчик. А отец одобрительно кивнул. Все остальные закивали вслед за ним: «Он еще жив. Он голоден, а ты не хочешь его накормить».

Эти кивающие головы, похожие на верхушки деревьев, которые раскачивает порывистый ветер, вызвали у меня дрожь. Мне хотелось закрыть глаза, но было стыдно. Нельзя закрывать глаза в присутствии отца.

- Хорошо, - сдался я. - Я согласен. Я отнесу ему поесть. - Головы тут же перестали кивать, словно подчинившись палочке невидимого дирижера. - Хорошо, - повторил я. - Я отнесу ему поесть, но прежде, мальчик, ответь на мой вопрос. А мертвые тоже хотят есть?

Мальчик снова удивился:

- Разве ты не знаешь? Правда?.. Конечно же они хотят есть.

- И их надо кормить?

- Что за вопрос! - воскликнул мальчик. - Конечно, их надо кормить. Только это трудно... - Трудно... трудно... трудно, - повторили хором призраки. Мальчик секунду разглядывал меня, а потом улыбнулся и сказал:

- Я открою тебе секрет. - Он перешел на шепот: - Ты знаешь, что в полночь мертвецы встают из могил?

Я подтвердил, что знаю, мне рассказывали.

- А тебе рассказывали, что с кладбища они все идут в синагогу?

Да, и об этом мне тоже говорили.

- Так все это верно, - подтвердил мальчик. Затем после паузы, которая должна была придать его словам большую драматичность, он произнес еще тише - так тихо, что я бы ничего не расслышал, если бы его голос не звучал внутри меня: - Да, это правда. В полночь они собираются в синагоге, но вовсе

не для того, для чего ты думаешь. Ты думаешь, они приходят туда молиться? Нет, они приходят туда есть...

Все вокруг меня завертелось: стены, стулья, головы. Они принялись танцевать в заданном ритме, не колебля воздуха, не касаясь пола. Я оказался неподвижным центром множества кругов. Мне захотелось закрыть глаза и заткнуть уши. Однако там был и мой отец, и мать, и учитель, и Нищий, и мальчик. А ведь нельза же закрыть глаза и заткнуть уши, когда вокруг танцуют те, кто сделал тебя тем, что ты есть.

- Дайте мне еду! - крикнул я Илане. - Я ему отнесу.

Танцоры мгновенно замерли, будто я был дирижером, а вместо палочки мне служили слова. Я сделал шаг к Илане, которая продолжала неподвижно стоять в дверях кухни. Неожиданно вскочил Гад и одним прыжком оказался рядом с девушкой.

- Оставь, - сказал он мне. - Я отнесу. Резким движением, почти грубо он выхватил из рук девушки тарелку и чашку и стремительно бросился к лестнице, ведущей в подвал. Йоав посмотрел на часы. - Третий час, - объявил он.

- Всего? - удивилась Илана. - Сегодня очень долгая ночь, самая долгая в моей жизни.

- Да, - согласился Йоав, - ночь очень долгая. Илана кусала губы.

- Иногда мне кажется, что она никогда не кончится, что она будет длиться вечно. Это как с дождем. Особенно у нас: ведь здесь все напоминает о вечности, о неизменности. Я всегда думаю: дождь идет сегодня, он будет идти завтра, и послезавтра, и следующий день, и следующийй месяц, и следующий год.

Она вдруг замолчала, достала из засученного рукава блузки платок и вытерла пот со лба.

- Не понимаю, почему здесь так жарко, - сказала она. - Ведь сейчас глубокая ночь.

- К рассвету посвежеет, - пообещал Йоав.

- Надеюсь, - сказала Илана. - А в котором часу светает?

- Около пяти.

- А сейчас сколько? - спросила она.

Йоав снова посмотрел на часы.

- Двадцать минут третьего, - ответил он.

- Тебе не жарко, Элиша? - спросила Илана, повернувшись ко мне.

- Жарко, ответил я.

Илана вернулась к столу. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Город казался далеким и ненастоящим. Он крепко спал и видел тревожные сны и сны, полные надежды, которые завтра родят другие сны. А те в свою очередь породят новых героев, которые переживут ночь и приготовятся умереть на рассвете, умереть и принести смерть другим. - Мне жарко, Илана, - проговорил я. - Я задыхаюсь.

Не знаю, сколько времени я провел так, стоя у окна и обливаясь потом, когда вдруг почувствовал, что на мое плечо легла горячая дружеская рука Иланы.

- О чем ты думаешь? - спросила она.

- О ночи, - ответил я. - Я всегда думаю о ночи.

- А о Джоне Досоне?

- И о Джоне Досоне.

Где-то в городе, в одном из окон, вспыхнул и тотчас же погас свет: должно быть, кто-то посмотрел на часы или какая-нибудь беспокойная мать захотела узнать, улыбается ли во сне ее ребенок.

- Однако ты не хотел его видеть, верно?

- Не хочу его видеть, - ответил я.

Я думал: «Когда-нибудь мой сын спросит меня: «Почему ты вдруг стал такой грустный?» -»Я грустный, - отвечу я, - потому, что перед моими глазами стоит английский капитан по имени Джон Досон. Однажды мой взгляд остановился на нем в минуту его смерти». Может, надеть на него маску? Маску легче убить и забыть».

- Тебе страшно? - спросила Илана.

- Да, - ответил я. - Страшно.

Я хотел добавить, что дело не в страхе, что страха я не боюсь. Страх - всего лишь внешнее оформление, оттенок, фон. Дело не в нем. То обстоятельство, что палач или жертва боятся, значения не имеет. Важно то, что оба они играют навязанные им роли. Палач и жертва - две крайние точки в человеческой ситуации. Трагично, что в этой роли человек может оказаться помимо своего желания.

- *Тебе? Тебе,* Элиша? *Тебе* страшно? - настаивала Илана. Мне был понятен смысл ее вопроса: «Тебе, Элиша? Тебе страшно? Тебе, пережившему Освенцим? Тебе, прошедшему Бухенвальд? Тебе, многократно видевшему, как Бог умирает на устах людей? Тебе, тебе страшно?»

- Да, Илана, - повторил я. - Мне страшно.

Она понимала, что речь идет не о страхе. Как и смерть, он всего лишь фон, внешнее оформление.

- Чего ты боишься? - спросила она.

Ее живая, горячая рука продолжала лежать на моем плече. Ее груди почти касались меня. Я чувствовал на своей шее ее дыхание. Ее блузка намокла от пота, лицо осунулось. «Она не понимает», - подумал я.

- Я боюсь, что он меня рассмешит, - сказал я, стараясь быть понятым. - Понимаете, Илана, он ведь способен сделать так, чтобы его голова раздулась и разорвалась на мелкие кусочки, и все только затем, чтобы меня расссмешить. Вот чего я боюсь.

Но она не понимала. Она достала из засученного рукава платок и вытерла мне вспотевший лоб и шею. Потом легко поцеловала меня в лоб и посоветовала:

- Не надо так себя мучить, Элиша. Заложники - не шуты. Они никого не смешат.

Бедная Илана! Ее голос был таким чистым и грустным, как сама правда, печальным, как чистота. Но она не понимала. Она видела лишь отражения, а не сущности.

- Возможно, вы правы, - согласился я. - Это мы их смешим. Они смеются после смерти.

Тогда она стала гладить мне волосы, шею, лицо. Я все время ощущал прикосновение ее грудей. Потом она заговорила голосом нежным, печальным и чистым, каким разговаривают с больными детьми, которых некому утешить или чью жажду нечем утолить.

- Не надо так себя мучить, мой мальчик. Не надо так ужасно себя мучить, - повторила она несколько раз. (Она не назвала меня «бедный мальчик», и я был ей за это благодарен).

Не надо, мой мальчик. Ты ведь молодой и умный. Просто ты слишком много страдал в жизни. Но скоро все это кончится. Англичане уйдут из страны, и мы снова выйдем на поверхность, чтобы жить нормальной, простой, здоровой жизнью. Ты женишься. У тебя будут дети. Ты будешь рассказывать им всякие истории. Ты будешь их смешить. И ты будешь счастлив, потому что они будут счастливы, вот увидишь. А иначе и быть не может... с таким отцом, как ты. И к тому времени ты уже совсем забудешь эту ночь, комнату, меня и все остальное...

Говоря «все остальное», она описала рукой полукруг. Я подумал о маме. Она говорила точно так же, таким же волнующим и взволнованным голосом, употребляла те же слова и почти те же выражения. Я любил маму. Каждый вечер — пока мне не исполнилось девять или десять лет - она приходила укладывать меня спать и пела колыбельные или что-нибудь рассказывала. «У твоей постели козочка, - говорила мама. - Золотая козочка. Она будет сопровождать тебя повсюду в жизни. Всегда. Всегда. Иногда будет идти впереди и служить проводником. Иногда будет оставаться позади, чтобы охранять тебя. И даже когда ты вырастешь, когда станешь богатым, когда узнаешь все, что доступно человеку, и когда будешь обладать всем, чем человеку должно обладать, - даже и тогда козочка будет рядом с тобой».

- Вы говорите со мной, Илана, словно моя мама.

У моей мамы тоже был красивый голос. Красивее, чем у Иланы. Подобно голосу Бога, ее голос обладал властью упорядочивать хаос и открывать мне будущее, которое могло бы стать моим. Козочка должна была вести меня повсюду. Но я потерял ее, потерял на пути в Бухенвальд.

- Ты страдаешь, - сказала девушка. - Когда мужчина вспоминает о матери, это значит, что он страдает.

- Нет, Илана, - возразил я. - Сейчас гораздо больше страдает она.

Внезапно ее прикосновения стали более легкими, отстраненными. Она начинала понимать. На ее лицо легла новая тень. Несколько секунд она молчала, а затем, как и я, стала вглядываться в ночь, которая протягивала нам через окно свою черную руку.

- Война, - заметила Илана, - как ночь. Она тоже все покрывает.

Да, она начинала понимать. Ее пальцы уже почти не касались моей шеи.

- Мы говорим себе, что ведем справедливую войну, - продолжала она, - что боремся за что-то и против чего-то. Мы сражаемся против англичан, за свободную и независимую Палестину. Так мы себе говорим. Но я знаю, Элиша, что слова служат лишь для того, чтобы придавать смысл нашим действиям, а действия - если увидеть их подлинное, изначальное значение - имеют цвет и

запах крови. Это война, говорим мы себе. Приходится убивать. И мы убиваем. Одни - как ты - убивают руками, другие - как я - убивают голосом. Каждый убивает по-своему. А как же иначе? У войны свои законы. Не признавать их - значит не признавать ее смысл, то есть оставлять победу за врагом. Мы не можем себе этого позволить. Сейчас нам необходима победа, победа в войне. Она необходима нам, чтобы выжить, чтобы удержаться на поверхности времени.

Илана ни разу не повысила голоса. Можно было подумать, что она рассказывает сказку или поет колыбельную.

Она говорила спокойно, почти без выражения, и в ее голосе не было ни страсти, ни волнения, ни даже отчаяния.

В целом она была права. Мы участвовали в войне. У нас была цель, идеал. И враг, вставший между нами и вечностью. И его следовало устранить. Каким образом? Это не имело значения. Неважно, какими методами. Средств много, и все они забываются. Результат же бывает один. И только он остается и имеет значение. Возможно, Илана была права: когда-нибудь я все это забуду. Но мертвые вспомнят. Мертвые ничего не забывают. Для них я останусь палачом до конца вечности. И невозможно быть палачом в разной степени: либо ты палач, либо нет. Нельзя сказать: я буду палачом одного человека, десяти, двадцати шести, буду им один день, пять минут... Палач одного человека остается палачом всю жизнь. Он может найти себе другое занятие, спрятаться за новой личиной, но образ палача уже становится от него неотделимым, словно маска, которая навсегда срастается с его кожей. Вот в чем все дело. Декорации постепенно начинают влиять на действующих лиц. Война может сделать меня палачом. И эта роль останется при мне, даже когда декорации переменятся, даже когда я буду играть в других пьесах и на других подмостках.

- Я не хочу быть палачом, - сказал я Илане. Слово «палач» я проговорил очень торопливо. Мне хотелось поскорее освободиться от него. Оно жгло мне язык.

- А кто хочет? - заметила девушка. Она продолжала гладить меня по голове, но мне почему-то казалось, что она гладит не меня, что не мои волосы перебирает она своими влажными пальцами. Ведь самая лучшая женщина в мире не решилась бы коснуться кожи палача, погладить волосы человека, с чьей кожей навсегда сросся образ палача.

Я оглянулся назад посмотреть, что делают остальные. Гидон и Йоав дремали, склонившись над столом и положив голову на руки. Казалось, Гидон молится даже во сне. Гад все еще был внизу, в подвале. Я не понимал, что он там делает так долго. Остальные - призраки из крови и плоти - следили за нашим разговором, однако не вмешивались. Это меня удивило. Илана полчала.

- О чем вы думаете? - спросил я.

Она не ответила. Подождав немного, я повторил вопрос. Она опять не ответила.

Я молчал. Илана молчала. И толпа молчаливых теней позади меня, вобравшая в себя весь свет и сделавшая его черным, погребально-скорбным и враждебным, - эта застывшая в каменной неподвижности толпа тоже молчала. Эти молчания наполняли меня ужасом. Они были не такими, как мое собственное. В них не

было ни жизни, ни надежды на перемены в будущем. Тени не шевелились.

Ребенком я боялся мертвых, боялся кладбища - царства мертвых. Молчание, которым окружали себя мертвые, внушало мне страх.

Я знал, что, стоя у меня за спиной, тесно прижавшись друг к другу, словно спасаясь от холода, они меня судят. Ведь им только и остается, что судить, так как они живут в мире завершенного. И они безжалостные судьи, потому что у них нет ощущения ни прошлого, ни будущего. И приговор они выносят не разумом, а самим своим существованием.

Стоя за моей спиной, они судили меня. Я понимал, что их молчания судят мое. Я хотел обернуться и взглянуть на их молчания, но при одной мысли об этом меня охватил ужас.

Я сказал себе, что скоро вернется Гад. Затем мне предстоит спуститься в подвал. Вот-вот настанет рассвет. Наступит день, и в его свете вся эта толпа растворится. Я не шелохнусь. Я останусь на месте у окна, спиной к ним, рядом с Иланой, до самого рассвета.

Но через минуту я передумал. Там были отец, мать, Нищий, учитель. Я не мог стоять к ним спиной. Это значило бы их оскорбить. Надо посмотреть им в глаза.

Я осторожно обернулся. В комнате было два разных света - белый и темный. Белый струился над уснувшими Гидоном и Йоавом, а темный свет излучала толпа призраков.

Я оставил Илану, которая, стоя у окна, предавалась размышлениям, а возможно, и сожалениям, и принялся ходить по комнате, время от времени останавливаясь перед знакомым лицом, знакомой печалью. Я знал, что они - эти лица и эти печали - меня судят. Они умерли и хотят есть. А когда мертвые голодны, они судят живых. И притом беспощадно. Они не ждут, пока действие произойдет и преступление совершится, они судят заранее.

Я решил заговорить с ними, лишь когда заметил мальчика, чье молчание стало взглядом. В этом взгляде выражалась тревога, которая делает ребенка старше и мудрее. «Я скажу им, - подумал я, - что они не имеют права осуждать мальчика».

Подойдя к отцу, я увидел на его лице страдание. Он ушел из жизни до появления Ангела смерти. Перехитрив его таким образом, отец смог унести с собой свое человеческое страдание живым.

- Отец, - сказал я, - не суди меня. Суди Бога. Это Он создал мир и сделал так, что справедливость достигается через несправедливость, что счастье народа покупается ценой слез, что свобода страны, как и свобода человека, - это величественное здание, фундаментом которому служат тела приговоренных к смерти.

Я стоял перед ним, не зная, куда девать глаза, руки, лицо. Мне хотелось перелить всю кровь, всю жизнь своего тела в голос. Иногда мне казалось, что это получается.

Я говорил долго. Я объяснял отцу то, что он, конечно, и так знал, ведь именно он научил меня этому. Все это я повторял ему с единственной целью: доказать, что я ничего не забыл.

- Не суди меня, отец, - молил я, дрожа от отчаяния. - Судить надо не меня, а Бога. Суди Бога, отец. Ведь ты умер, а судить Бога могут позволить себе только мертвые.

Но он не отвечал. На его изможденном, небритом, почерневшем лице человеское страдание стало еще человечнее. Тогда я оставил его и обратился к матери, стоявшей справа от него.

Но заговорить с ней я не смог. Мне было слишком тяжело. Мне показалось, что я слышу ее шепот: «Бедный мальчик, бедный мой мальчик», - и у меня на глазах выступили слезы. Я только сказал ей, что я не убийца, что она родила не убийцу, а солдата, борца за свободу, который ради своего народа, ради его права на солнечный свет, на радость, на улыбки детей пожертвовал собственным душевнным покоем, который стоит дороже жизни. Вот и все, что я смог ей сказать задыхающимся горячечным шепотом, прерывавшимся от слез.

Но, поскольку она тоже не отвечала, я оставил и ее и подошел к своему старому учителю. Смерть изменила его меньше, чем всех остальных. При жзни он был точно таким же. Когда он был жив, мы говорили, что он не от мира сего.

- Я тебя не предал, - заверил я, словно все уже было позади. -Если бы я отказался выполнять приказ, то предал бы своих живых друзей. Живые имеют на нас больше прав, нежели мертвые. Именно ты говорил мне об этом, учитель. В Библии сказано: «Избери жизнь». И я избрал живых, учитель. Это не предательство.

Йерахмиэль стоял рядом с ним. Йерахмиэль был мне другом и братом. Это был сын извозчика с руками крестьянина и душой святого. Учитель любил нас больше всех остальных. По вечерам он изучал с нами секреты каббалы. Я даже не знал, что Йерахмиэль умер. Я понял это лишь в тот момент, когда увидел его в толпе рядом с учителем. вернее, он стоял не рядом, а чуть позади, в знак почтения к учителю.

- Йерахмиэль, - сказал я, - Йерахмиэль, брат мой, ты помнишь?..

Когда-то мы делили с ним самые невероятные мечты. Согласно каббале, человек с истинно чистой душой и настоящей любовью способен ускорить приход Мессии. И вот однажды вечером, возвращаясь домой после занятий, мы с Йерахмиэлем решили попробовать. Мы прекрасно знали, какие опасности нам грозят. Никто не может пытаться направить Божественную руку, не рискуя при этом жизнью. Многие люди, старше, ученее, мудрее нас, терпели неудачу, пытаясь вырвать Мессию из цепей будущего: при этом одни лишались веры, другие - рассудка, третьи - жизни. Все это мы с Йерахмиэлем знали, однако решили идти до конца, несмотря на подстерегавшие нас опасности. Мы пообещали друг другу, что пойдем вместе, чего бы это нам ни стоило. Если погибнет один, другой все равно продолжит путь. И вот мы начали готовиться к путешествию в глубины. Мы занялись очищением тела, мыслей, души. Днем мы постились, а по ночам читали молитвы. Чтобы очистить слово и сам рот, мы старались говорить как можно меньше, а по субботам хранили полное молчание.

Возможно, мы добились бы цели, но тут разразилась война. Нас выгнали из домов и из нашего города. Когда я в последний раз видел Йерахмиэля, он шагал

в толпе других евреев, которых депортировали в Германию. Неделю спустя я тоже оказался в Германии. Йерахмиэль был в одном лагере, я - в другом. Я часто думал о том, продолжает ли он в лагере начатое нами дело. Теперь я знал: да, он его продолжал и потому умер.

- Йерахмиэль, - сказал я, - Йерахмиэль, брат мой, ты помнишь?..

Что-то в нем изменилось - наверное, руки. Теперь это были руки святого.

- Мы тоже, - сказал я, глядя на его руки, - мои товарищи по Движению и я, тоже пытаемся направить Божественную руку... Мертвым вроде тебя следовало бы помогать нам, а не судить...

Но Йерахмиэль молчал. Его руки молчали. И где-то в глубинах времени Мессия тоже молчал.

Оставив Йерахмиэля, я подошел к мальчику, похожему на меня в детстве.

- И ты? Ты тоже меня судишь? - спросил я. - Вот уж тебе бы не следовало меня судить. Тебе повезло, ты рано умер. Если б ты остался в живых, то стал бы мной.

Тогда мальчик заговорил. В его голосе звучало эхо далеких тревог и печалей.

- Я не сужу, - сказал он. - Мы здесь не затем, чтобы тебя судить. Мы здесь, потому что ты здесь. Мы повсюду с тобой, мы то, что ты делаешь. Когда ты поднимаешь глаза к небу, мы видим его вместе с тобой. Когда ты гладишь по волосам голодного ребенка, на его голову ложится тысяча невидимых рук. Когда ты подашь хлеб нищему, мы даем ему ощутить тот божественный вкус хлеба, который способен почувствовать только нищий. Почему мы молчим? Да потому, что молчание - не просто место нашего существования, но и наша сущность. Мы сами - молчание. В твоем полчании, Элиша, есть кое-что от нас. Понимаешь, ты носишь нас в себе. Иногда тебе случается нас видеть, но чаще - нет. Когда ты нас видишь, то думаешь, что мы тебя судим. Ты ошибаешься. Не мы тебя судим, а молчание в тебе самом.

Неожиданно кто-то коснулся моей руки: это был Нищий. Обернувшись, я увидел его у себя за спиной. Я понял, что он вовсе не Ангел смерти, а конечно же пророк Илия.

- Я слышу шаги Гада, - произнес он. - Он возвращается из подвала.

* * *

- Я слышу шаги Гада, - заметила Илана, коснувшись моей руки. - Он возвращается из подвала.

Гад медленно вошел в комнату, его лицо ничего не выражало. Илана кинулась к нему и поцеловала в губы. Он мягко ее отстранил.

- Тебя так долго не было, - сказала Илана. - Что ты там делал столько времени?

На лице Гада слабо обозначилась жестокая и болезненная улыбка.

- Да ничего, - сказал он. - Смотрел как он есть.

- Ест? - спросил я с удивлением. - Так он был в состоянии есть?

- Да, - ответил Гад. - Он ел. И с аппетитом.

Я не понимал.

- Как!? - воскликнул я. - Ты хочешь сказать, что он был голоден?

- Я этого не говорил, - возразил Гад. - Я не говорил, что он был голоден. Я

сказал, что он ел с аппетитом.

- Значит, он не был голоден? - продолжал я.

- Нет, он не был голоден.

- Так почему же он ел?

- Не знаю, - нервно сказал Гад. - Наверно, чтобы доказать мне, что может есть, даже когда не голоден.

Илана внимательно всматривалась в лицо любимого. Она пыталась поймать его взгляд, но Гад уставился в какую-то невидимую точку в пространстве.

- А что вы делали после этого? - спросила Илана, внезапно встревожившись.

- После чего? - резко спросил Гад.

- После того, как он все съел.

- Ничего, - сказал он.

- Как это ничего? - удивилась Илана.

- Так, ничего. Он рассказывал мне разные истории.

Илана схватила его за руку:

- Истории? Какие истории?

Гад вздохнул с покорным видом.

- Просто истории, - повторил он таким тоном, что было ясно: ему надоело отвечать на нелепые, по его мнению вопросы.

Мне хотелось спросить, смеялся ли он, удалось ли заложнику его рассмешить. Но я передумал: в любом случае ответ был бы абсурдным.

Приход Гада разбудил Гидона и Йоава. Они озирались по сторонам с растерянным видом, словно желая удостовериться, что это не сон. Подавляя зевоту, Йоав спросил, который час.

- Четыре, ответил Гад, посмотрев на часы.

- Так много времени! Я и не подозревал, что уже так поздно.

Гад знаком подозвал меня к себе.

- Скоро наступит день, - напомнил он.

- Да. Знаю. Наступит день.

- Ты знаешь, что тебе надо делать?

- Знаю.

Он сунул руку в карман, достал револьвер и протянул его мне. Я колебался.

- Возьми, - приказал он нетерпеливо.

Ревльвер был черный, почти новый. Я боялся прикоснуться к нему, принять его. Ведь разница между тем, кем я был прежде, и тем, кем мне предстояло стать, заключалась именно в этом револьвере.

- Ну? - раздраженно произнес Гад. - Бери.

Я протянул руку и взял револьвер. Я долго рассматривал его, словно не зная, для чего нужен этот странный предмет. Наконец я положил его в карман брюк.

- Я хотел задать тебе один вопрос, - сказал я Гаду.

- Я слушаю.

- Он тебя рассмешил?

Гад смотрел на меня холодно, словно не понимая вопроса или настойчивос-

ти, с которой я его задавал. Он о чем-то думал, и, судя по нахмуренному лбу, думал напряженно.

- Заложник, - повторил я, - тебя не рассмешил?

Его взгляд пронизывал меня насквозь: я ощущал, как он входит в меня через глаза и выходит сквозь затылок. Должно быть, Гад думал о том, что происходит у меня внутри, почему я задаю ему эти маловажные вопросы, почему не страдаю и почему не прячу под какой-нибудь маской это страдание или это отсутствие страдания.

- Нет, - наконец ответил Гад, - он меня не рассмешил.

Его маска дала маленькую трещину. Он этого не заметил. Все усилия он сосредоточил на глазах и забыл, что надо следить за ртом. А маска дала трещину именно там. Теперь его рот, особенно верхняя губа, выдавали горечь и гнев.

- Не может быть! - воскликнул я с деланным восхищением. - Как тебе это удалось? Истории были несмешные?

Гад издал странный звук, вероятно означавший смех. Последовавшее за ним молчание еще более усилило ту печаль, которой невидимая рука очертила его губы.

- Нет, они были смешные. Очень смешные! Но меня не рассмешили.

Он достал из кармана рубашки сигарету, зажег ее, несколько раз затянулся и, не дожидаясь следующего вопроса, продолжал:

- Все очень просто: я думал о Давиде.

«Я тоже буду думать о Давиде, - решил я. - Он меня защитит. Конечно, заложник постарается меня рассмешить, но я не поддамся. Мне поможет Давид».

- Скоро утро, - сказал Йоав, опять подавляя зевоту. Гидон повторил, как эхо:

- Скоро утро.

Снаружи на нас продолжала смотреть ночь. Но по тому, как она на нас смотрела, можно было догадаться, что она готовится уходить.

Неожиданно я принял решение.

- Я спускаюсь, - объявил я Гаду.

- Так рано? - спросил он, то ли удивленно, то ли встревоженно. - У тебя еще есть время. Около часа.

Я ответил, что предпочитаю спуститься заранее, чтобы посмотреть на него, поговорить с ним, познакомиться. Я добавил, что подло убивать незнакомого человека - это слишком легко. Получается как на войне. Там стреляешь не в людей, а в ночь, и она, раненая, издает душераздирающий крик боли, похожий на человеческий стон. Стреляя в ночь, мы стреляем в нечто бесформенное и никогда не знаем точно, убит ли кто-нибудь и кто его убил. То же самое казнить незнакого человека. Если б я увидел его лишь за мновение до смерти, у меня осталось бы чувство, что я стрелял в мертвого. А это было бы подло.

Так я объяснил свое решение. Не знаю, соответствовало ли мое объяснение действительности. Сейчас, вспоминая об этом, я думаю, что на самом деле я торопился поскорее спуститься вниз просто из любопытства: мне не терпелось увидеть настоящего заложника. Мне хотелось посмотреть на человека, которому предстоит умереть и который об этом знает. Я хотел поглядеть на заложника,

которого ожидает смерть и который рассказывает смешные истории. Что это было - любопытство или желание проверить свое мужество? Вероятно, и то и другое.

- Хочешь, я пойду с тобой? - спросил Гад. Ему на лоб упала прядь волос, он не откинул ее.

- Нет, Гад, - ответил я. - Я ходу побыть с ним наедине.

Он улыбнулся мне. Передо мной стоял командир, гордый своим подчиненным и даривший ему свою улыбку и благосклонность. Он положил мне руку на плечо и ласково по нему похлопал.

- Хочешь, с тобой кто-нибудь пойдет? - спросил Нищий, положив мне руку на плечо.

- Нет, - сказал я. - Я хочу побыть с ним наедине.

В его глазах светилась необычайная доброта.

- Ты не можешь сделать этого без них, - сказал он, кивком головы указывая на стоявшую за нами толпу.

- Ладно, - согласился я. - Пуская придут позже.

Нищия взял мое лицо в свои ладони и посмотрел мне в глаза. Его взгляд был настолько властным, что на мгновение я усомнился в собственном бытии. Я подумал: «Я - этот взгляд и больше ничего. У Нищего много взглядов, и я один из них». Но его взгляд излучал величайшую доброту, а я понимал, что Нищий не может смотреть с такой добротой на собственный взгляд. И тогда мое бытие вернулось ко мне.

- Хорошо, - сказал он. - Они придут позже.

Нищий вернулся на свое место в центре толпы.

Теперь уйти со мной вниз предложил мальчик, глядя на меня поверх голов и теней. Я сказал ему: «Позже». От моего ответа ему стало грустно. Я повторил то, что уже ранее говорил другим: «Позже. Сначала я хочу побыть с ним наедине».

- Хорошо, - пообещал мальчик. - Мы придем позже.

Я обвел взглядом комнату, надеясь оставить там этот взгляд, чтобы забрать его, когда вернусь снизу.

Илана что-то говорила Гаду, а он ее не слушал. Йоав зевал. Гидон потирал лоб, словно у него болела голова.

«Через час все изменится, - думал я. - Я увижу их совсем другими глазами. Совершенно иначе будут выглядеть стол, стулья, кухонная дверь, стены и окно. И только мертвые - отец, мать, учитель, Йерахмиэль, - не изменятся, потому что мы меняемся вместе, одинаковым образом, одновременно, делая одно и то же».

Я похлопал себя по карману, желая убедиться, что револьвер еще там: он был на месте. У меня даже возникло странное чувство, будто он живой, дышит, будто его жизнь стала частью моей, будто у него, как и у меня, есть настоящее, будущее и собственная судьба. Но при этом его судьбой был я, а моей - он.

- Скоро утро, - заметил Йоав, потягиваясь.

Взглядом я попрощался с комнатой, с Иланой, с Гадом, с Гидоном и его молитвами, с Йоавом и его растерянным видом, со столом, с окном, со стенами, с ночью. Потом я торопливо пошел на кухню с таким ощущением, будто спешу

на собственную казнь. Я стал спускаться по лестнице; мой шаг невольно стал медленным и тяжелым.

* * *

Джон Досон был красивый мужчина. Даже и теперь, несмотря на многодневную щетину, спутанные волосы и мятую рубашку, в его облике сохранилась какая-то элегантность.

Вероятно, ему было за сорок. Он походил на кадрового офицера: решительный подбородок, прямой и пристальный взгляд, высокий лоб, небольшой нос, изящные руки.

Когда я открыл дверь камеры, он лежал на походной кровати и разглядывал потолок.

Помимо кровати, никакой мебели в узкой белой камере не было. Благодаря хитроумной вентиляции, которую мы там установили, в камере без окон было прохладнее, чем в комнате наверху даже при открытых окнах.

Заметив меня, Джон Досон не выразил удивления или страха. Он даже не встал, а всего лишь сел на кровати. Потом долго смотрел на меня, не произнося ни слова, как бы желая измерить силу и плотность моего молчания. Его взгляд схватил все мое существо, и я подумал: «Видит ли он, что я весь состою из глаз?»

- Который час? - отрывисто спросил он.

Вялым, неуверенным голосом я ответил, что уже пятый час. Он наморщил лоб, словно пытаясь проникнуть в глубинный, скрытый смысл моих слов.

- А в котором часу рассветет? - опять спросил он.

- Через час, - ответил я и, сам не знаю почему, добавил: - Примерно.

Мы долго разглядывали друг друга, и вдруг я понял: время перестало двигаться с обычной скоростью. Я сказал себе: «Через час я его убью». И однако, я сам этому не верил. Я думал: «Час, который отделяет меня от убийства, продлится дольше жизни, он всегда будет принадлежать к отдаленному будущему и никогда не станет прошлым».

Мы пристально разглядывали друг друга. В этой ситуации было нечто извечно-древнее. Мы были одни, не только в камере, но и в целом мире. Он сидел, я стоял. Жертва и палач. Мы были первыми людьми Творения. Или последними. Во всяком случае, мы были одни. А Бог? Он, конечно, был где-то рядом. Может, Он был в той симпатии, которую вызывал у меня Джон Досон? Возможно, отсутствие ненависти между палачом и жертвой и есть Бог.

Мы были одни в узкой белой камере. Он сидел на кровати, я стоял перед ним. Мы пристально разглядывали друг друга. Мне хотелось увидеть себя его глазами. Может быть, ему хотелось увидеть себя моими.

Он не вызывал у меня ни гнева, ни ненависти, ни жалости; я испытывал к нему симпатию, вот и все. Мне нравилось, как он морщит лоб, когда задумывается, как разглядывает ногти, когда старается что-то для себя понять.

- Это вы?.. - коротко спросил он.

Как он догадался? Наверное, по запаху. Ведь смерть имеет запах. Войдя, я внес его с собой. А может, он сразу же заметил, что у меня нет ни рук, ни ног, ни плеч, а весь я состою из глаз.

- Я, - сказал я.

Я был спокоен. Ведь мучительным и трудным всегда бывает предпоследний шаг, а последний дает человеку ясность, трезвость, уверенность в себе.

- Как вас зовут? - спросил он.

Этот вопрос несколько меня смутил. Неужели его задают все приговоренные к смерти? Для чего им знать имя палача? Чтобы унести с собой в иной мир? Зачем? Может, мне не стоило называть свое имя, но ведь тому, кого ожидает смерть, нельзя отказывать ни в чем.

- Элиша, - ответил я.

- Звучное имя, - заметил он.

- Так звали одного из пророков, - объяснил я. - Элиша * был учеником Илии. Он оживил мертвого ребенка: лег поверх него и вдохнул в него свое дыхание и жизнь.

- Вы делаете обратное, - заметил он, улыбаясь.

Я не замечал в нем злобы или ненависти по отношению к себе. Наверное, к нему тоже пришли спокойствие, ясность, уверенность в себе.

- Сколько вам лет? - спросил он с любопытством.

- Восемнадцать, - сказал я и почему-то добавил: - Скоро девятнадцать.

Тут он повернул ко мне голову, и я увидел выражение невероятной жалости на его внезапно осунувшемся лице. Он долго смотрел на меня, потом грустно покачал головой и сказал:

- Мне вас жаль.

Я ощутил, как его жалость входит в меня. Я знал, что она целиком меня захватит и что завтра я буду сам себя жалеть.

- Расскажите какую-нибудь историю, - попросил я. - Лучше смешную.

Я почувствовал, как мое тело наливается тяжестью. «Завтра оно станет еще тяжелее, гораздо тяжелее, - подумал я. - Завтра оно понесет в себе мою жизнь и его смерть».

- Я последний, кого вам суждено увидеть в жизни, - продолжал я. - Рассмешите меня.

Его полный жалости взгляд вновь охватил всего меня. Я опять подумал: «Неужели все приговоренные к смерти смотрят таким взглядом на последнего в своей жизни человека? Неужели все жертвы испытывают жалость к своим палачам?»

- Мне вас жаль, - повторил Джон Досон.

Я сделал над собой усилие. Я должен был улыбнуться. Я улыбнулся.

- Эта история несмешная, - заметил я.

Он улыбнулся в ответ. Которая из двух улыбок была печальнее?

- Вы вполне в этом уверены?

Нет, я не был вполне уверен. Я даже вообще не был в этом уверен. Может, история и в самом деле была смешная. Жертва сидит, палач стоит. Они улыбаются и даже понимают друг друга. Понимают друг друга лучше, чем если бы дружили с детства. Вот какие чудеса творит время. Исчезают все привычные представления. Каждое слово, каждый жест, каждый взгляд становится истиной

*** В русской традиции - «Елисей».**

в чистом виде, а не одним из ее отражений. В наших отношениях возникла гармония. Мое молчание вбирало в себя его молчание. Моя улыбка отвечала его улыбке. Его жалость становилась моей. Никто и никогда не будет понимать меня лучше, чем понимал в этот час он. Я знал это. И еще я знал, что причиной тому - лишь навязанные нам роли. Вот что делало эту историю смешной.

- Садитесь, - сказал Джон Досон, освобождая мне место на кровати слева от себя.

Я сел. Только тут я заметил, что он на целую голову меня выше. И ноги его тоже были длиннее моих. Мои ступни не доставали до пола.

- У меня сын вашего возраста, - начал он. - Он вам ровесник, но совсем на вас не похож. Он блондин. Сильный и крепкий. Он любит поесть и выпить, ходить в кино, гулять с девушками, петь и смеяться. Ему незнакома ваша тревога, беспокойство... ваши страдания.

И он стал рассказывать о своем сыне, который учится в Кембридже, и каждая его фраза была языком пламени, обжигавшим мое тело. Правой рукой я похлопал по револьверу в кармане. Он тоже, казалось, раскалился и жег мне пальцы.

«Мне не следует его слушать, - думал я. - Он мой враг, а у врага не может быть никакой истории. Нужно думать о чем-нибудь другом. Ведь на самом деле я для того и хотел его видеть, чтобы думать о чем-нибудь другом, пока он будет рассказывать мне свою историю. О чем-нибудь другом. О чем же? Об Илане? О Гаде? Да, буду думать о Гаде, который думает о Давиде. Буду думать о Давиде, герое Движения, который... который...»

Я закрыл глаза, чтобы лучше его видеть, но у меня ничего не выходило, так как я никогда с ним не встречался. «Одного имени мало, - думал я. - Требуются тело, лицо, голос, и лишь тогда можно связать с ними имя: Давид бен Моше. Необходимо знакомое лицо, привычный голос. Гад? Нет, не Гад. Его трудно представить себе приговоренным к смерти. Почему я не подумал об этом раньше? К смерти приговорен Джон Досон. Назовем его Давидом, Давидом бен Моше. Следующие пять минут вы будете Давидом бен Моше... Вы в Акко, в тюрьме. В белой камере, залитой резким холодным светом. В таких камерах содержат тех, кто умрет на рассвете. Вот кто-то стучит в дверь. Это раввин. Он пришел, чтобы вас подбодрить, почитать псалмы, помочь вам прочесть *Видуй* * - эту страшную покаянную молитву, в которой вы признаетесь не только в тех преступлениях и грехах, которые действительно совершили, но также и в тех, что совершили другие, однако могли бы совершить и вы. Раввин произносит традиционное благословение: «Пусть Бог благословит и сохранит...» - и призывает вас не бояться. Вы отвечаете ему, что не боитесь и что опять сделали бы то же самое, повторись эта ситуация еще раз. Раввин улыбается и говорит, что вами все гордятся. И старается сдержать слезы. Он взволнован. Он готов заплакать. Он плачет. А вы, Давид, не плачете. Вы смотрите на раввина с нежностью, потому что он последний человек в вашей жизни: палач и прочие не в счет. Да,

---

* *Видуй*
Молитва о прощении грехов, произносимая главным образом на смертном одре.

последний. Вы испытываете большую нежность к этому раввину, которого видите в первый раз. Он плачет, а вы стараетесь его утешить и приободрить. Вы говорите ему: «Не плачьте. Не плачьте обо мне. Я не боюсь. Не надо меня жалеть...»

- Мне вас жаль, - говорит Джон Досон. - Мне не своего сына жалко, а вас.

Он поднялся с кровати. Он был такой высокий, что его голова касалась потолка и ему приходилось слегка пригибаться. Он засунул руки в карманы брюк цвета хаки с помятой складкой и принялся мерить шагами камеру - пять шагов в одну сторону, пять в другую.

- То, что вы говорите, действительно смешно, - заметил я.

Он не слышал моих слов. Держа руки в карманах, он продолжал ходить по камере, пять шагов вперед, пять назад. Я посмотрел на часы: двадцать минут пятого.

Внезапно он остановился напротив меня и попросил сигарету. У меня в кармане была целая пачка. Я хотел ему ее дать. Он отказался. Объяснил, что все выкурить не успеет. Он говорил спокойно и важливо.....

- У вас есть бумага и карандаш? - спросил он вдруг торопливо и с нетерпением.

Я достал блокнот, вырвал несколько страниц и протянул ему вместе с карандашом.

- Я напишу коротенькую записку сыну и попрошу вас о любезности: послать ее ему, - объяснил он. - Адрес я укажу внизу.

Я дал ему блокнот, чтобы он подложил, когда будет писать. Он писал стоя, и кровать служила ему столом. В течение нескольких минут в комнате царила почти полная тишина, прерывавшаяся лишь скрипом карандаша по бумаге. Я смотрел на его руки: одной он придерживал блокнот, а другой писал. У него были аристократические руки с длинными, тонкими и нежными пальцами. Кожа на руках была гладкая и полупрозрачная. Они меня завораживали. «С такими руками, - думал я, - легко преуспеть в жизни. Не надо ничего говорить, просить, улыбаться, кланяться, дарить цветы или делать комплименты. Все это за вас делают руки. Такие руки, наверное, с радостью изваял бы Роден...»

Имя Родена заставило меня вспомнить Стефана. Я познакомился с ним в лагере. До войны он был скульптором. Когда я впервые увидел его, у него уже не было правой руки.

Стефан был немцем, и те, кто отрезали ему правую руку, тоже были немцами - нацистами.

В первые годы после прихода Гитлера к власти Стефан и несколько его друзей попытались создать в Берлине нечто вроде организации сопротивления. Это была маленькая группа противников национал-социализма, отвергавших всеобщее поклонение фюреру. Группа просуществовала очень недолго. Через несколько месяцев ее обнаружило гестапо.

Молодого скульптора арестовали, допрашивали и пытали. «Имена, - требовали они. - Назови имена, и мы тебя отпустим». Стефан молчал. Его били - он ничего не говорил. Его пытали голодом - он не открыл рта. Дни и ночи ему не давали спать - он продолжал молчать. Наконец его отвели к начальнику берлинского

гестапо. Это был мягкий, застенчивый, тщедушный человек. Ласковым отеческим тоном он посоветовал Стефану перестать «делать глупости» и не упрямиться. Скульптор вежливо его выслушал и ничего не ответил. «Итак? - спросил доброжелательный шеф гестапо. - Начинайте. Назовите мне одно имя, только одно. Этим вы докажете свою добрую волю». Стефан молчал. «Жаль; - сказал добряк. - Вы заставляете меня причинить вам боль».

По знаку шефа двое эсэсовцев отвели арестанта в соседнюю комнату, напоминавшую операционную. У окна стояло зубоврачебное кресло. Рядом с креслом, на столике, покрытом белой салфеткой, были аккуратно разложены десятки скальпелей, ножниц, пинцетов. Эсэсовцы закрыли окно, привязали Стефана к креслу и закурили. Чуть позже в комнату вошел тщедушный офицер. Теперь на нем был белый халат.

- Не бойтесь, - сказал он Стефану. - До того, как стать эсэсовцем, я был врачом.

Врач с добродушным лицом и ласковым голосом подошел к хирургическому столу, выбрал несколько инструментов и сел напротив молодого арестанта.

- Дайте мне правую руку, - попросил он. Стефан протянул руку.

Вниматель осмотрев ее, врач продолжал:

- Мне сказали, что вы скульптор. Не отвечаете? Ладно, я и без того знаю, что это правда. По рукам видно. Ведь, знаете, человеческие руки могут сказать многое. Они очень выразительны. Посмотрите на мои: никогда не подумаешь, что они принадлежат врачу. А дело в том, что я не хотел быть врачом. Я мечтал заняться искусством - стать музыкантом или художником. Я не стал ни тем, ни другим, но сохранил руки художника. Поглядите...

- Я смотрел на его руки и восхищался, - рассказывал потом Стефан. - Никогда в жизни я не видел столь прекрасных, ангельски чистых рук. Казалось, они обладают собственной душой, исключительно нежной и далекой от всего земного.

- Раз вы скульптор, - продолжал врач с ангельски чистыми руками, - вам нужны руки. Ну, а нам они, к сожалению, ни к чему.

И с этими словами он отрезал первый палец.

На следущий день пришла очередь второго.

На третий день он отрезал третий палец.

Пять дней - пять пальцев. Все пальцы правой руки.

- Не беспокойтесь, - отеческим тоном сказал офицер. - С медицинской точки зрения ампутация прошла отлично. Осложнений быть не должно.

- Я видел его пять раз, - рассказывал Стефан. (По непонятной ему самому причине его не казнили, а отправили в концлагерь.) Я пять раз видел его вблизи. И всякий раз не мог оторвать глаз от его рук - никогда в жизни не видел я рук такой красоты...

Джон Досон дописал письмо и протянул его мне, но я не видел бумагу. Мое внимание было приковано к тонким и гордым рукам с гладкой полупрозрачной кожей.

- У вас очень красивые руки, - заметил я.

Он с удивлением изучал меня, не говоря ни слова.

- Вы случайно не художник? - спросил я.

Он отрицательно покачал головой.

- Нет, не художник, - ответил он.

- И вы не играли ни на каком инструменте? Не рисовали? Даже не хотели ничем таким заниматься?

Он продолжал молча изучать меня, потом коротко ответил:

- Нет.

- Но вы наверняка изучали медицину? - продолжал я.

Он окинул меня удивленным взглядом, словно вдруг усомнившись, что я в своем уме.

- Никогда не изучал медицину, - ответил он почти сердито.

- Жаль!

- Жаль? Почему?

- Посмотрите на свои руки. Это руки хирурга. Они могли бы отрезать пальцы. Для этого необходимы именно такие руки.

Медленно, спокойными движениями он положил на кровать листки бумаги, которые до тех пор держал кончиками пальцев.

- Это смешная история?

- О да! Парень, который мне ее рассказывал, - некто Стефан - считал ее ужасно смешной. Он смеялся над ней до слез.

Он несколько раз покачал головой и сказал с бесконечной печалью в голосе:

- Вы меня ненавидите, да?

Я не ненавидел его. Я хотел бы его ненавидеть. Тогда все было бы проще. Ненависть, подобно войне, любви и вере, объясняет и оправдывает все.

- Элиша, почему ты убил Джона Досона?

- Он был моим врагом.

- Кто?! Джон Досон был твоим врагом? Что ты имеешь в виду, Элиша?

- Хорошо, я объясню. Джон Досон был англичанином. А в те времена англичане были врагами евреев Палестины. Я еврей, значит он был и моим врагом.

- Я не понимаю тебя, Элиша. Почему его убил именно ты? Разве ты был его единственным врагом?

- Нет. Но мне же приказали. А приказы - известное дело...

- И эти приказы сделали тебя его единственным врагом? Ну-ка, отвечай, Элиша: почему ты убил Джона Досона?

Если бы я сослался на ненавить, то избежал бы всех этих вопросов. Почему я убил Джона Досона? Очень просто: я его ненавидел. И точка. Ненависть, будучи причастной к абсолютному, проясняет смысла любого человеческого акта, даже если делает его бесчеловечным.

Мне очень хотелось его ненавидеть. Ведь, в конце концов, я отчасти для того и спустился заранее, чтобы поговорить с ним, прежде чем его убить. Понимаю, что это нелепо, но я все же надеялся отыскать в нем - или в себе - хоть какое-нибудь основание для ненависти.

Человек ненавидит своего врага, потому что ненавидит собственную ненависть. Он говорит: «Это враг заставляет меня ненавидеть. Я ненавижу его не

потому, что он мой враг, не потому, что он меня ненавидит, а потому, что он порождает во мне ненависть».

Я думал:»Джон Досон делает меня убийцей. Он делает меня убийцей Джона Досона. За это он заслуживает моей ненависти. Не будь его, я был бы просто убийцей, но не убийцей Джона Досона».

Итак, я спустился вниз, чтобы лучше его ненавидеть. Я думал, это будет легко. Существует испытанный метод, которым пользовались для возбуждения ненависти во все времена все правительства в мире. Суть этого метода заключается в том, чтобы при помощи речей, фильмов и прочей пропаганды создавать образ врага, в котором люди увидят воплощение зла, символ всех человеческих страданий, всех несправедливостей, всех жестокостей с первого дня Творения. «Это безотказный метод, - думал я. - И я применю его к своей жертве».

Я пытался его применить. Я говорил себе: «Все враги одинаковы. Они стоят друг друга. Каждый из них отвечает за преступления остальных. Головы у них разные, но их объединяют руки - руки, отрезающие языки и пальцы моих друзей».

Спускаясь по лестнице, я был уверен, что в подвале встречусь с тем, кто приговорил к смерти Давида бен Моше, кто убил моих родителей, кто встал между мной и тем, чем я хотел стать, - с тем, кто готов был убить во мне человека.

Я не сомневался, что смогу его возненавидеть.

Потом я увидел его военную форму и сказал себе: «Замечательно! Ничто не возбуждает такой ненависти, как форма».

Я увидел его прекрасные, тонкие и нежные руки и подумал:

«Отлично! Стефан изваяет мою ненависть к этим рукам».

Когда он склонился над своим последним письмом к сыну, «который учится в Кембридже и наслаждается жизнью и любовью», мой взгляд упал на его шею и я подумал: «Давид тоже пишет свое последнее письмо, наверно Старику, пока палач еще не накинул патлю ему на шею».

Когда он заговорил со мной, я все еще думал о Давиде. О Давиде, которому не с кем поговорить. С раввином? С раввином не разговаривают. Он слишком торопится передать ваши слова милосердному Богу. Ему признаются в грехах, с ним читают псалмы и предсмертные молитвы, его утешают или дают произнести слова утешения, но разговаривать по-настоящему с ним невозможно.

Я думал о Давиде, которого не знал и никогда не узнаю.Он был не первым из участников Движения, кого должны были повесить, и потому мы в точности знали, когда и как он умрет. Около пяти утра дверь его камеры откроется и начальник тюрьмы скажет: «Приготовься, Давид бен Моше. Пришло время». Всегда говорят «пришло время», как будто приходит только это время. Давид окидывает взглядом камеру. «Идем, сын мой», - говорит раввин. Они выходят. Дверь камеры остается открытой: ее, как всегда, забывают закрыть. Небольшая группа собирается в длинном мрачно-сером коридоре, ведущем в комнату казни. В середине группы шагает главное действующее лицо - Давид, который понимает, что все пришли сюда только ради него. Он идет с высоко поднятой

головой - все наши товарищи шли на смерть, высоко подняв голову. В его глазах - странная улыбка. В камерах по обе стороны коридора сотня глаз и ушей напряженно выжидает. Первый из заключенных, заслышав звук его шагов, запевает *«га-Тиква»* * - песню надежды, по мере продвижения группы песня становится все громче, набирает силу и страстность. И вот начинается борьба между песней и шагами по коридору.

Пока Джон Досон рассказывал мне о сыне, я слышал шаги Давида бен Моше, шаги и песню, которым еще только предстояло прозвучать.

И вот я слушал шаги приговоренного к смерти, которые пытался заглушить своими словами Джон Досон, и думал: «Он разговаривает, чтобы я не видел Давида в центре группы, идущей по коридору, чтобы не видел улыбку в его глазах, чтобы не слышал отчаяния в звуках *«га-Тиква»* - песню надежды.

Я хотел его возненавидеть. Ненависть сделала бы все проще.

- Итак, почему же ты убил Джона Досона?

- Я убил его потому, что ненавидел. А ненавидел потому, что его ненавидел Давид бен Моше. А Давид ненавидел его потому, что он разговаривал, когда Давид шел по мрачно-серому коридору, в конце которого его ждала смерть.

- Вы ненавидете меня, Элиша, да? - спросил Джон Досон.

Его глаза были полны нежности, заливавшей все его лицо.

- Я не ненавижу вас, - ответил я. - Я пытаюсь вас возненавидеть.

- Почему вы пытаетесь меня возненавидеть, Элиша? - спросил он.

Его голос звучал ласково, тепло, немного печально. В нем поражало отсутствие любопытства.

«Почему? - думал я. - Что за вопрос, Джон Досон! Без ненависти не имело бы смысла все то, что делают мои товарищи и я. Без ненависти наша борьба не имела бы шансов на успех. Почему я пытаюсь возненавидеть вас, Джон Досон? Потому, что мой народ никогда не умел ненавидеть. Трагедия моего народа на протяжении многих столетий объясняется тем, что он не умел ненавидеть тех, кто стремился его уничтожить, тех, кому часто удавалось его унизить. Сейчас, Джон Досон, наш единственный шанс на успех состоит в том, чтобы научиться вас ненавидеть, то есть овладеть наукой ненависти и осознать ее необходимость. Иначе, Джон Досон, иначе наше будущее станет всего лишь продолжением нашего прошлого и Мессия никогда не дождется избавления».

- Почему вы пытаетесь меня возненавидеть? - снова спросил он.

- Чтобы придать своему акту смысл, который бы его превосходил.

Он покачал головой.

- Мне жаль вас, - повторил он.

Я посмотрел на часы: без десяти пять. Еще десять минут. Через десять минут я совершу самый важный, всеобъемлющий акт в своей жизни.

Я поднялся с кровати.

- Приготовьтесь, Джон Досон, - сказал я.

- Уже время? - спросил он.

---

1) «га-Тиква» («надежда») - сионистский гимн, в 1948 году ставший государственным гимном Израиля.

- Почти, - ответил я.

Он встал и прислонился головой к стене - то ли чтобы собраться с мыслями, то ли чтобы прочесть молитву.

Еще восемь минут. Без восьми пять. Я достал из кармана револьвер и подумал: «А что делать, если он его отнимет? Убежать он не сможет. Дом хорошо охраняется. Из подвала нельзя выйти иначе, как через кухню. А там Гад, Гидон, Йоав и Илана. И Джон Досон это знает».

Еще шесть минут.

Неожиданно ко мне пришля ясность. В камере стало удивительно светло. Все роли вдруг четко определились, границы обозначились. Время размышлений, сомнений, вопросов и неуверенности кончилось. Я стал рукой, держащей револьвер. Стал револьвером, держащим мою руку.

Без пяти пять. Еще пять минут.

- Не бойся, сын мой, - говорит Давиду раввин. - С тобой Бог.

- Не бойтесь, я врач, - говорит Стефану офицер с приятным лицом.

- Письмо,- говорит Джон Досон, обернувшись ко мне. - Вы пошлете его моему сыну?

Теперь он стоял, прислонившись спиной к стене. Он был стеной. Без трех минут пять. Еще три минуты.

- С тобой Бог, - говорит раввин Давиду и плачет. Но Давид уже не видит его.

- Вы ведь пошлете письмо? - настаивал Джон Досон.

- Пошлю, - пообещал я и почему-то добавил: Сегодня же.

- Спасибо, - сказал Джон Досон.

Давид входит в комнату, из которой не выйдет живым. Его уже ждет палач. Он весь состоит из глаз. Давид поднимается на эшафот. Палач тихо спрашивает, завязать ли ему глаза. Давид твердо отвечает: «Нет. Еврейский боец умирает с открытыми глазами». Он хочет встретить смерть лицом к лицу.

Без двух минут пять.

Я достал из кармана платок. Джон Досон велел мне его убрать. Сказал, что не боится смерти. Британский офицер умеет умирать с открытыми глазами, глядя смерти в лицо.

Осталась минута - без шестидесяти секунд пять.

Дверь камеры бесшумно отворилась, и мертвые, войдя, наполнили нас своей тишиной. Теперь в узкой камере стало нестерпимо душно.

Нищий коснулся моего плеча и сказал:

- Наступает день.

Мальчик, напоминавший меня в детстве, сказал с беспокойным видом:

- Я впервые... - Потом, вспомнив, что не закончил фразу, добавил: - Впервые присутствую при казни.

Пришел отец. И мама. Учитель с пожелтевшей бородой тоже пришел. И Йерахмиэль. Все они смотрели на меня. Их молчание разглядывало меня.

Давид вытянулся всем телом и запел «га-Тиква».

Джон Досон улыбался. Прислонив голову к стене, вытянувшись всем телом, словно приветствуя генерала, Джон Досон улыбался.

- Почему вы улыбаетесь? - спросил я.

- Никогда не спрашивай человека, который на тебя смотрит, почему он улыбается, - сказал Нищий.

- Я улыбаюсь, - ответил Джон Досон, - потому что вдруг понял, что даже не знаю, почему умираю.

- Видишь, - заметил Нищий, - я же говорил. Никогда не задавай таких вопросов человеку, которому предстоит умереть.

Двадцать секунд. В этой минуте их было больше шестидесяти.

- Не улыбайтесь, - сказал я Джону Досону. Мне хотелось сказать ему: «Не улыбайтесь, я не могу стрелять в улыбающегося человека».

Десять секунд.

- Я хочу рассказать вам историю, - сказал он. - Смешную.

Я поднял правую руку.

Пять секунд.

- Элиша...

Две секунды. Он продолжал улыбаться.

- Жалко, - сказал мальчик. - Я бы хотел послушать его историю. Я люблю истории.

Еще одна секунда.

- Элиша... - сказал заложник.

Я выстрелил. Когда он произнес мое имя, он был уже мертв. В его сердце вошла пуля. Мое имя - еще теплыми губами - произнес мертвец: «Элиша».

Он падал очень медленно, скользя по стене. Потом замер, сидя на полу у стены, с головой между коленями, как будто еще только ожидая казни.

Несколько секунд я стоял рядом. Болела голова. Все тело налилось тяжестью. От выстрела я оглох и онемел. «Ну, вот, - подумал я, - это произошло. Я убил. Убил Элишу».

Мертвые начали покидать комнату, уводя с собой Джона Досона. Мельчик шел рядом с ним, словно показывая ему дорогу. Мне почудилось, что мама шепчет:»Бедный мальчик, бедный мальчик!»

Потом тяжелым и медленным шагом я поднялся в кухню.

Я вошел в комнату. Она стала совсем другой. Призраков уже не было. Йоав больше не зевал. Гидон смотрел себе на ногти и молился об упокоении душ. Илана подняла ко мне измученное лицо. Гад зажег сигарету.

Они молчали, но их молчание отличалось от того, которое всю ночь давило на мое молчание.

На горизоне вставало солнце.

Я подошел к окну. Город еще спал. Где-то проснулся и заплакал ребенок. Мне хотелось, чтобы залаяла сбоака, но собак поблизости не было.

Ночь рассеивалась, оставляя за собой серый, грязный свет цвета гнилой воды. Вскоре от ночи остался лишь обрывок, совсем крохотный. Он висел снаружи, по ту сторону окна.

Я взглянул на этот обрывок ночи, и меня охватил ужас. У обрывка было лицо. Я посмотрел на него и понял причину своего ужаса. Лицо было моим.

Сергей ЛЁЗОВ

«СКАЗАЛ МНЕ: ИДИ И УБЕЙ...»

«Один ребе спросил учеников: «Как определить, что ночь кончилась и начался день?» Один ученик сказал: «Может, когда издали отличаешь овцу от собаки?» «Нет», - ответил ребе. «Может, - сказал другой ученик, - когда издали отличаешь яблоню от сливы?» «Нет», - сказал ребе. «Но как же тогда?» - спросили ученики. «Если, глядя в лицо любому человеку, вы видите в нем брата, значит, наступил рассвет. А если вы этого не видите, то знайте, что еще ночь.»

Хасидская притча.

Во втором номере армяно-еврейского вестника «Ной» читатель познакомился с книгой Эли Визеля «Ночь». Эта книга воспринимается как документ. «Ночь» - первая часть трилогии, вторая часть которой, «Рассвет», публикуется в этом номере журнала. Эта маленькая книга, написанная в 1960 г., обладает всеми формальными признаками романа.

В «Рассвете» Э.Визель исходит из конкретной исторической ситуации. Люди, испытавшие участь жертв, чудом выжившие в нацистских лагерях уничтожения и добравшиеся до Палестины, пришли к убеждению: они должны сами убивать, чтобы геноцид евреев не повторился. Такова судьба героя романа Элиши, после войны приехавшего в Палестину, чтобы бороться с англичанами за создание независимого еврейского государства. Он становится террористом и должен убить заложника - британского офицера.

Сюжет романа основан на известных фактах из итории борьбы еврейских подпольных вооруженных формирований с британскими мандатными властями Палестниы. Эли Визель переосмыслил события мая 1947 г., когда в ответ на казнь трех бойцов террористической организации Эцель были убиты заложники - два английских сержанта. Эти события широко обсуждались в мировой прессе.

Большая часть «Рассвета» построена как «внутренний диалог» Элиши в ночь перед убийством, - диалог с его погибшими родными, учителями и друзьями детства, - то есть с теми, кто стал частью его личности. Герой испытывает душевные муки, но о выборе речи нет: основополагающее решение было принято уже тогда, когда Элиша включил себя в ситуацию борьбы еврейского народа за национальное освобождение.

Мучает же Элишу только память о его мертвых, которые, оказывает-

ся вовсе не говорят ему в ночном разговоре: «Иди и убей».

Герой «Рассвета» - это alter ego автора, помещенный в ситуацию, которую сам Эли Визель не пережил, но воспринимает и исследует как нереализованную возможность собственной судьбы. Этот роман откровенно философичен и интеллектуален, он обнаруживает жанровые и тематические связи с литературой французского экзистенциализма сороковых-пятидесятых годов, и шире - с традицией французского философсого романа.

Жизнью Элиши, пережившего Освенцим, движут вопросы: «Где человек обретает Бога? В страдании или в сопротивлении? Что делает человека человеком? Что делает с ним страдание - очищает или превращает в животное?»

За этими вопросами стоит еврейское представление о Боге как о Господине истории. В романе «Ночь» узники Освенцима обращались к Нему с мольбой и надеждой, но ответа не было. Бог молчал, когда гибли Шесть миллионов. И герой «Ночи» поднимается на бунт против Бога: «Я больше не мог жаловаться. Напротив, я чувствовал себя очень сильным. Я был обвинителем, а Бог - обвиняемым. Мои глаза открылись, и я оказался одинок, чудовищно одинок в мире - без Бога и без человека. <...> Я был всего лишь пеплом, но чувствовал себя сильнее, чем этот Всемогущий, к которому моя жизнь была привязана так давно».

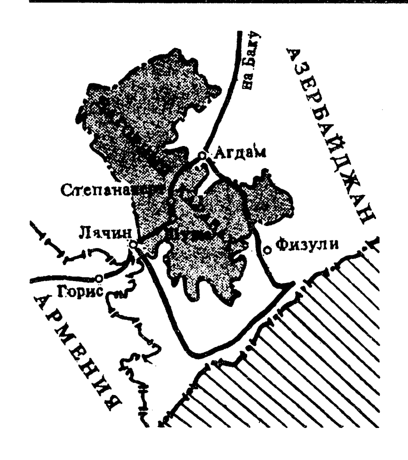
Поэтому герою «Рассвета» больше не о чем говорить с Богом, к Нему Элиша не обращается ни разу. А ответ на свои вопросы он пытается найти не в еврейской вере, а в светской идеологии сионизма: чтобы выжить и сохраниться, еврейский народ должен стать господином своей истории. Для мыслящего в религиозных категориях Элиши это значит: человек становится на место Бога. В мире романа для этого требуется одно - научиться убивать, сохраняя ощущение своей правоты.

После первого террористического акта Элиша «посмотрел на себя из своего прошлого. И увидел себя в форме - в темно-серой форме СС».

Бог великих обетований и мессианской надежды умер в Освенциме. Но Элиша не может обрести спокойствие, потому что на глубине своего существования он хранит верность мертвому Богу, к которому его жизнь «привязана так давно» - и навсегда. Причина его мучений - именно эта верность, невозможная и бессмысленная. Верность неизвестно Кому, - или тому, кому, быть может, все это безразлично.

После своего первого террористического акта Элиша хочет спросить у товарища по оружию: «А может Бог - бог войны - тоже носит форму?» И дальше мы читаем: «Но я промолчал. Я подумал: Бог не носит форму. Он, скорее всего, участник Сопротивления. Бог - террорист».

Элиша не может принять Бога, благословляющего убийство, но и отвергнуть такого Бога он не в состоянии. Он убивает заложника. В романе этот «абсолютный акт» затрагивает все существо юного палача и становится тождественным самоубийству: «Ну вот, - подумал я, - это произошло. Я убил. Убил Элишу». Вот так - без попытки катарсиса, примирения, «снятия» - заканчивается «Рассвет».



Степан ГРИГОРЯН,
депутат Верховного
Совета Республики Армения

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Как бы ни пытались игнорировать этот факт политики, в настоящее время в Закавказье появилось новое государство - Нагорно-Карабахская Республика (НКР), со своим выборным парламентом, своим правительством и своей армией. Этому способствовали как бескомпромиссная позиция Азербайджана в карабахском вопросе, так и отсутствие механизмов решения подобных пробелем в рамках СССР, а затем СБСЕ. Собственно, на этом уровне происходит взаимная аннигиляция двух произвольно толкуемых принципов - нерушимости границ и права народов на самоопределение. А пока длятся споры между политиками и политологами, в горах Карабаха устанавливаются новые реалии с помощью оружия. И если вопрос о возможностях разрешения этнополитических конфликтов в рамках СССР ныне чисто академический, то СБСЕ демонстрирует неспособность решения этих проблем у нас на глазах. Происходит это отчасти потому, что большое число стран-посредников Минской группы делает задачу еще более сложной и многопараметрической, так как в игру включаются интересы большого числа стран и политических сил региона, да и не только его; кроме того, механизмы СБСЕ вырабатывались для старой Европы, в то время как ныне СБСЕ имеет дело с огромным множеством своеобразных обществ, построенных часто на совершенно иных принципах, чем европейские. Например, если в Евроме «атомом общества» явялется личность с ее неотъемлемыми правами, то в ряде регионов бывшего СССР таковым является род, клан и т.д. Я уже не говорю о многообразных межнациональных, межэтнических, региональных противоречиях, не имеющих аналогов в «малой Европе». Уже наличие огромной массы русскоязычного населения (в том числе коренной национальности) в новых национальных государствах представляет собой совершенно неслыханное явление с точки зрения старой Европы. Мы видим, один и тот же народ (осетины) может одновременно выступать как в роли имперской нации (по отношению к ингушам), так и в роли восставшего меньшинства (в Южной Осетии). Между тем, хельсинкские принципы (включая знаменитый принцип нерушимости границ) создавались для иных обществ в условиях биполярной Европы, и создавались в целях стабильности этой биполярной Европы, давно канувшей в прошлое со своими Варшавским Договором, СССР,ГДР, СФРЮ и т.д.

Однако главной причниой провала всех мирных инициатив является то, что

наиболее заинтересованная конфликтующая сторона просто не может быть представлена в переговорах, в силу своей «нелигитимности». Дело в том, что НКР, Абхазия и другие подобные образования по существующим нормам не могут являться членами СБСЕ и поэтому не являются субъектами переговорного процесса. В результате мы видим успешные попытки Азербайджана представить свой конфликт с Карабахом как конфликт с Арменией из-за Карабаха, и менее успешные попытки Грузии представить конфликты в Абхазии и Южной Осетии как конфликты с Россией. На практике подобный подход претворяется в бесплодные попытки урегулирования конфликта за спиной одной из сторон, по поговорке: «без меня меня женили».

Каковы же реалии новой «большой Европы»? Они принципиально отличаются от реалий как Запада, умеющего удовлетворять национальные меньшинства, сохраняя государственную целостность, так и от реалий прежнего тоталитарного Востока. Население регионов пытается взять судьбу своей «малой родины» в свои руки, что приводит к столкновению его интересов с интересами посттоталитарного государства. В случаях с меньшинствами этот процесс идет особенно бурно и имеет национальный характер. Мы наблюдаем два полярных типа разрешения возникающих противоречий. Первый тип («российский») состоит в удовлетворении государством стремлений регионов, местных элит и национальных меньшинств. Второй тип (грузинско-азербайджанский) характеризуется жестким унитаризмом, национализмом и, в конечном счете, этническими чистками. Государства, избравшие этот путь, начинают с упразднения автономий на своей территории (расформирование Нагорно-Карабахской, Южно-Осетинской автономных областей), и введения жестко централистской системы управления. Напротив, в России мы видим повышение статуса автономий и передачу многих функций от Центра на места (Карелия, Ингушетия, Татарстан и т.д.). В этом смысле положительные тенденции мы наблюдаем и в Молдове, где провал политики силового подавления в Приднестровье вынудил правящую элиту к переговорам с руководством Принестровья и Гагаузии; более того, к разработке проектов федеративного устройства государства.

Общего рецепта решения проблем этнополитических конфликтов не существует. Однако становится очевидной необходимость переноса этих вопросов в рамки ООН, обладающей соответствующими институтами и статусами (национально-освободительная борьба, право народа на восстание, т.е., не признанные в рамках СБСЕ). Так, согласно статье 3 Женевской конвенции о праве войны, если угнетенное меньшинство подняло восстание и создало свои органы управления, контролирующие некоторую территорию, то эти органы должны быть признаны в качестве участника переговоров о дальнейшем урегулировании, что, однако, не означает дипломатического признания нового образования в качестве независимого государства. Этот принцип мог бы указать выход из тупика, в котором ныне оказалась проблема, из-за того, что метрополия не желает садиться за стол переговоров с «мятежниками», ссылаясь на то, что сам факт переговоров означает признание «самопровозглашенного» государства и нарушение принципа нерушимости границ. Это дает, несомненно, единственную возможности избежать продолжения трагедий. В противном случае нам придется или признать право Абхазии и Карабаха воевать против Грузии и Азербайджана, или признать право Грузии и Азербайджана воевать против собственного (де-юре) населения ради священной «нерушимости границ». То есть, в конечном счете, право «этнических чисток», ибо иными способами воевать против восставшего народа просто невозможно. Третьего при существующих ныне правилах просто не дано.

Павел ШЕХТМАН (Москва)

ДМИТРИЙ ФУРМАН И АРМЯНСКИЙ ВОПРОС.

Известный публицист Дмитрий Фурман выступил в «Ное» (а так же в журнале «Свободная мысль» N16, 1992) с интересными рассуждениями об армянской национальной психологии, написанными с несомненным знанием предмета и содержащими новый и оригинальный взгляд на эту проблему. Так, весьма плодотворной (хотя и спорной) представляется гипотеза о «национальных неврозах» евреев и армян - народов, переживших геноцид - как о факторах, определяющих их политическое поведение. Однако следует заметить, что многие положения этого талантливого публициста вступают в противвречия как с историческими фактами, так и с другими его же собственными положениями. Примечательно, что подобные противоречия - а иногда и грубые ошибки - встречаются, когда дело доходит до двух ключевых тем современной политики: отношений с Турцией и карабахской войны.

Концепция Д.Фурмана относительно Турции такова. Когда-то, давным-давно, младотурки, «находившиеся в истерическом состоянии из-за неудач на фронтах первой мировой войны» («Своб.мысль», стр.29), устроили армянам... не то, чтобы «самый настоящий геноцид», но во всяком случае «чудовищных масштабов погром», поселив в армянах невротический страх повторения геноцида и ненависти к туркам (и отождествляемым с ними азербайджанцам). В свое время этот страх имел основания. Но мир 1992 года в корне отличается от мира 1915 года, он населен гуманнейшими и бескорыстнейшими демократическими государствами (к числу коих относится, конечно, и Турция), и армянам для прекращения своих бед (виновниками которых являются только они сами и их невроз) необходимо отрешиться от прежней мифологии и искренне протянуть соседу дружескую руку.

В этой стройной концепции обращают на себя внимание характерные мелочи. Первая - терминологическая: если истребление 1,5 миллионов в лагерях смерти по национальному признаку есть, по Д.Фурману, «чудовищных размеров погром», то в чем его отличие от «самого настоящего геноцида»? Отличие, между прочим, есть, и его прекрасно знают турки. Ибо «геноцид» - понятие международно-правовое, влекущее за собой определенные правовые же выводы. А «погром» - понятие литературное, никого ни к чему (а наипаче турок) не обязывающее. Поэтому-то они и готовы признать, что делали с армянами все, что угодно... кроме геноцида.

Отметим это и обратимся к «поряжениям» младотурок. Вспомним, что к апрелю 1915 года линия фронта пролегала еще невдалеке от турецкой границы. Что же автор считает тем катастрофическим поражением, от которого несчастные младотурки (тоже необычайно демократические и человеколюбивые, если судить по их декларациям) впали в истерику, сопровождавшуюся истреблением целого народа? Неужто это - неудачное сражение под Саракамышем?

Но разве турецкий геноцид был вообще единовременной и случайной акцией, спровоцированной внешними обстоятельствами? Разве резня и геноцид (первоначально на конфессиональной почве, а со времен Греческого восстания и подъема освободительных движений - на национальной) не начались с самого взятия Константинополя, если не раньше, и не были условием существования Османской империи? Разве

«очищение» Армянского нагорья от «инородного клина», разделяющего два братских народа, не является закономерной частью программы тюркизма и пантюркизма, исповедовавшейся младотурками и исповедуемой ныне под именем кемализма? Разве уничтожение армян вообще начали младотурки, а не «кровавый султан» Абдул-Гамид? И разве довершил его не Отец всех турок Мустафа Кемаль, под чьим ласковым прищуром живет современная Турция и светом чьих националистических идей она поныне вдохновляется? Разве, наконец, не этот великий деятель, провозгласивший Турцию страной турок и только турок, положил начало геноциду курдов, продолжающемуся ныне со всей жесткостью времен янычар и башибузуков? Бомбежки и уничтожение сотен мирных деревень; массовые насилия над женщинами разнузданной солдатни; пытки детей; аресты сотен и тысяч человек; депортации, убийства среди белого дня - все это творится в «демократической» Турции ежедневно, творится на глазах Д.Фурмана, на наших глазах, на глазах всей так нываемой «мировой общественности»!

Д.Фурман советует армянам протянуть руку тем, кто вопреки очевидным фактам отрицает совершенные их дедами преступления - тем самым становясь их моральными соучастниками. Ведь если, например, евреи не испытывают никакой ненависти к немцам и быстро излечились от связанного с ними «невроза» - то это произошло только благодаря самим немцам, имевшим счастье быть разбитыми в войне, покаяться и заклемить собственные преступления. А что бы сказали евреи, если бы Гитлер до сих пор официально почитался в Германии, как в Турции почитается Ататюрк?

Если бы германские официальные лица отделывались такого рода рассуждениями: «Да, евреи пострадали во время второй мировой войны, но мы их вовсе не хотели уничтожить. Они сочувствовали нашим врагам, и нам пришлось их выселить. Конечно, были допущены ошибки и эксцессы, о чем мы сожалеем. Но так называемый «геноцид», «газовые камеры» и т.д. - все это злостные выдумки самих евреев». Спрашивается, мог бы Израиль иметь нормальные отношения с такой Германией? Не явилось бы это нравственным предательством, актом морального самоуничтожения, невозможным для уважающего себя народа? Не имели бы тогда евреи права рассматривать всех граждан Германии, открыто не протестующих против государственной политики - как своих врагов? И, наконец - могли бы они считать себя безопасными от повторения гитлеровского геноцида?

И в заключении - щекотливый вопрос о «территориальных претензиях» (к Турции, ибо к Азербйджану, вопреки Д.Фурману, таковых нет. Есть лишь поддержка воюющего народа Нагорно- Карабахской Республики). Наш автор, судя по всему, рассматривает «территориальные претензии» как нечто постыдное, средневековое, недостойное «цивилизованных» и «демократических» государств. Отметим только, что для Армении речь идет о чем-то гораздо большем (и в моральном, и в материальном плане), чем 4 Богом забытых островка (для Японии), или скала на Средиземном море (для Испании)!

Перейдем теперь к карабахскому вопросу, а также к тонкому отличию «экспансионистского» и «агрессивного» армянского движения от стабилизирующего и нормализующего движения еврейского. В чем вообще, по Д.Фурману, состоит суть «нормализации»? Видимо, в том, чтобы иметь собственный парламент (или что-то под видом парламента), собственных воров и собственных проституток. Словом, чтобы все было, «как у людей». И поскольку у армян в Ереване этого добра было навалом (хоть парламент при коммунизме был и не совсем настоящий, но уж зато воры и проститутки - доподлиннейшие!), то, по мысли автора, им и следовало довольствоваться тем, что есть. А они взялись требовать какого-то Карабаха, дестабилизировали обстановку, чем, естественно, и вызвали погромы со стороны оскорбленных в лучших чувствах азербайджанцев. И автор (вообще большой мастер идиллического жанра в политологии) рисует буколическую картину мира, демократии и дружбы народов, которые воцарились бы в Арербайджане, если бы иррациональные армянские неврозы не испортили всей обедни. Впрочем, автор не уточняет, какие «неврозы» вызвали к жизни также Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию. Не уточняет, на чем он основывает

свою уверенность, что элита Азербйджана проявила бы больший интернационализм, чем таковые же Грузии, Молдавии и даже «европейской» Прибалтики.

Не уточняет автор и другого немаловажного обстоятельства. А именно: почему местом, где евреи могут иметь собственных воров и проституток, оказалась непременно гора Сион? Почему они не могли - с гораздо меньшими затратами - получить то же, например, в Уганде (как предлагали англичане), или в Биробиджане? Не включает ли понятие «все, как у людей», так же и право иметь собственную Родину - землю твоих предков - и распоряжаться ее судьбой, как и судьбой своего народа? (За Родину и борются сейчас карабахцы; в то время как карабахское движение в Армении было яростной попыткой вновь взять судьбу армянского народа в армянские руки - и в этом смысле, действительно, реваншем за десятилетия беспомощного зависимого существования). И, наконец, не включает ли это понятие право на уважение другими народами твоих прав, ценностей и интересов? Одним словом, право играть «на равных» в концерте народов. Поэтому главной вехой «нормализации» еврейского сознания оказался (и сам Д.Фурман это отчасти признает) именно 1967 год, когда сами евреи, их друзья и враги убедились, что они умеют воевать (защищать себя и свои интересы) ничуть не хуже, а подчас и много лучше, чем окружающие народы. Именно военный реванш, наряду с раскаянием бывших врагов, оказался лучшим лекарством от страха повторения геноцида. Но, по Д.Фурману, если арабы не уважают права евреев на Сион - это одно; а если турки не уважают права армян на Арарат - это совсем, совсем другое... Вообще, сопоставления - интересная вещь. Посмотрим, как автор сопоставляет «позитивный» сионизм и «негативное» карабахское движение:

«Сионизм стремился вовсе не к «реваншу» и не был направлен против арабов (хотя антиарабские настроения, конечно, были). Он хотел... осуществить право евреев жить, как все народы. Пафос карабахского движения другой... Они стремились прежде всего к экспансии, к реваншу, а это путь бесконечного продления вражды, движения не к нормальной жизни, а от нее». Из этого сделаем выводы:

Что сионизм, поставивший целью создание еврейского государства на землях, де-факто принадлежавших совсем другому народу - был движением не к «вражде» и «продлению войны», а к спокойствию, взаимопониманию и умиротворению.

Что движение жителей Карабаха за административное переподчинение их области было направлено против азербайджанцев и являлось стремлением к экспансии, т.е. к захвату своей же собственной земли.

Предполагаемая же удача карабахских «экспансионистов» отнюдь не вдохновляет Д.Фурмана. «Ведь ясно, что Азербайджан никогда не смирится с этим. И Турция, конечно. Такая «победа» отбросит (уже отбросила) обе враждующие стороны в средневковье, Карабах постоянно будет лихорадить, дестабилизировать Закавказье, вызывая недоверие соседних стран: а где гарантия, что завтра армяне не потребуют Арарат?).

Поскольку пафос сионистского движения «совершенно иной», нетрудно понять, что победа евреев заставила палестинцев «смириться с этим»; повела обе враждующие стороны к прогрессу; примирила с Израилем всех его соседей и умиротворила, стабилизировала Ближний Восток, вызвав доверие соседних стран. И Сирия не просит гарантий, что Израиль не заявит претензий на Голанские высоты. Он ими уже владеет.

Надо иметь также ввиду, что Израиль, в отличие от Армении, не посягает на священную «нерушимость границ» и добросовестно остается в своих международно признанных границах 1947 года. Мораль, вытекающая из этого историко-психологическо-политологического эссе: лучше быть сильным и богатым, чем слабым и бедным. Всяк сверчок знай свой шесток, и по одежке протягивай ножки. Вот если бы армяне в шесть дней разгромили всех соседей - тут бы Д.Фурман их и прославил!

И все-таки удивляешься, сколько исторической, психологической и психопатологической эрудиции потребовалось для того, чтобы объяснить «удивительный» факт, происшедший в 1988 года. А именно: население некоторой области захотело присоединиться к тому государственно-административному образованию, с народом

которого его объединяла этническая общность, и этот народ энергично поддержал стремление своих собратьев. Т.е. объясняют с помощью «невроза», 1915 года и пр. не формы, которые приобрело явление, а само это явление! Притом автор словно забыл о существовании некоторых моральных и международно-правовых понятий, вроде «свободы народов» и «права народов на самоопредеение». Поэтому он с таким пониманием относится к сумгаитским погромщикам, для которых удовлетворение требований карабахцев (из этих понятий вытекающих) «явилось бы надругательством над суверенитетом республики», и которые громить-то пошли только потому, что их якобы изгнали из Армении (депортации азербайджанцев до Сумгаита!) («Своб.мыль», стр. 28). Как видим, конструкция, прекрасно согласующаяся с азребайджанским официальным «видением проблемы». Точнее, просто повторяющая бакинские (и горбаческие) мифы, «не замечавшие» политико-правового содержания карабахского движения, объявлявшие его направленным против азербайджанского народа, и хитроумно оправдывающие погромы «народным гневом». На самом деле, межнациональная рознь в Карабахе и Армении началась после Сумгаита и была реакцией на провокационную политику московских и бакинских властей. Первоначально же, как известно, даже карабахские азербайджанцы относились к движению вполне нейтрально.

Тут надо заметить, что автор, вслед за своими коллегами из Баку, впадает в любопытное противоречие. С одной стороны, Сумгаит, Баку и т.д. рассматриваются, как неизбежные последствия действий «армянских националистов», так что вроде и виновниками их оказываются армяне. На этом основании Д.Фурман укоряет «армянских академиков» (не упоминая, впрочем, русского академика А.Сахарова) в слепоте, армянских политиков и примкнувшую к ним Г.Старовойтову - чуть ли не в намеренном провоцировании погромов. Противоречие же заключается в том, что, если встать на эту точку зрения - выходит, будто азербайджанский народ не умеет отвечать на легально выраженные политические требования ничем иным, кроме погромов. Получается, что вполне прав тот тюркофоб, который утверждал, будто «погром является неотъемлемой частью турецкой политической культуры». Вот до каких расистских, антиазербайджанский вещей можно договориться, последовательно защищая азербайджанских «патриотов».

Кстати, немного о Г.В.Старовойтовой. До последнего времени это имя служило единственным (наряду с именем Ф.Шелова-Коведяева) доказательством засилья армянского лобби, которое, как известно каждому в Баку, ворочает всей российской политикой. Оно (имя) было упоминаемо азербайджанской пропагандой всякий раз, когда речь зайдет о России (т.е. постоянно), так что его охаивание приобрело уже черты ритуального сквернословия. А сам образ скромного экс-советника президента превратился в символ, в мифологический знак, воплощающий в себе силы Космического Зла. Поэтому читатель оценит, как обрадовался я, найдя-таки в рассуждениях Д.Фурмана заветное имя, да еще в конткесте, достойном страниц «Бакинского рабочего» или «Дня» (На совести Старовойтовой, де, «больше крови, чем на любом погромщике-азербайджанце». Кстати, опять-таки - сколько крови на единомышленнике Г.Старовойтовой А.Сахарове? Или, хотя бы, на его вдове? Почему автор не разоблачает их, не клеймит - это в конце концов, несправедливо!).

Но, удивляясь слепоте армянских академиков, эксперт Горбачевского фонда Д.Фурман еще больше изумляется проницательности М.С.Горбачева. Изумимся ей и мы, одновременно подивившись также его великодушию и щедрости (ведь Горбачев, по Фурману, соглашался выполнить все (!!!) требования армян, за исключение одной только мелочи - передачи им Карабаха). В самом деле, Горбачев предвидел очень многое из того, чего не могли предвидеть все армянские академики и даже один русский. Не могли они предвидеть, что при либеральнейшем из генсеков в Советской стране вдруг воскреснет такое явление из учебников истории, как «погром». Не предвидели, что советских женщин советские же люди будут три дня подряд сжигать заживо на глазах советских солдат, меланхолически разъезжающийх по городу на БТРах. Не предвидели, что сигнал к погрому даст главарь городских коммунистов, а

погром, вообще, будет организован и направлен нашей всегдашней «организующей и направляющей», под всегдашим же ласковым присмотром московского КГБ. Не предвидели, что умилительно интеллигентный глава государства будет мягко разводить руками и говорить, будто «войска опоздали на три часа». Зато в разгаре другого погрома (в Баку) он весьма оперативно введет чрезвычайное положение... в Нагорном Карабахе. И с тех пор руководимая волей Верховного Главнокомандующего «непобедимая и легендарная», в братском союзе с силами азербайджанского правопорядка, примется одерживать там одну победу за другой, вплоть до блестящих викторий под Геташеном и Мартунашеном. Словом, много чего не могли предвидеть академики. А вот Горбачев предвидел. И не только предвидел, но и предупреждал. Великий человек!

С чем, однако, следует искренне поздравить автора - так это с небывалым успехом его политических и этнопсихологических концепций среди азербайджанских демократов (образца января-90). Мало того, что год назад его статью «Наши интересы в Закавказье» немедленно перепечатал из «НГ» «Бакинский рабочий» (азербайджанский аналог «Дня») - теперь публицист Ариф Юнусов публикует в органе НФА, газете «Азербайджан» (2.2.1993г.) статью о Карабахской войне,во многом представляющую собой явный плагиат Д.Фурмана. И читатель газеты принимает мысли беспристрастного московоского аналитика за мысли патриотического гражданина Азербайджана!

А все-таки, странный народ эти армяне. Нервный, неудобный народ. Никак не хотят они признать, что Армения - это отныне не Армения, а маленький кусочек замли у озера Севан, очерченный красным карандашом Сталина. И что все земли, за его пределами находящиеся, к Армении никакого отношения не имеют. Будь они хоть трижди покрыты армянскими древностями, армянскими святынями, армянскими могилами и даже, впридачу, армянским населением. Не хотят тихо, мирно, без войны и погромов, съехать из азербайджанского Карабаха, как съехали раньше из Нахичевани. И не только не хотят, а берутся за оружие. Берутся, вопреки мудрым запретам юристов и политологов. И захватывают города, которные, как выясняется, являются азербайджанскими национальными святынями (впрочем, выясняется это уже после того, как они захвачены армянами). И - что не менее возмутительно - говорят о каких-то «землях», требуют признания какого-то «геноцида»... Какой геноцид, позвольте?! Какие земли?! Ведь это когда было! Как поется в песне:

«Зачем былое ворошить?
Кому так легче будет жить?
Новое время по нашим часам!
Пойдем лучше в гости:
У наших соседей
Родился чудный мальчик,
Назвали - Чингисхан!»

Президенту Армении Левону Тер-Петросяну, Президенту Азербайджана Абульфазу Эльчибею

Многоуважаемые президенты двух независимых соседних государств! Побудительным мотивом моего письма послужила глубокая и продолжительная озабоченность, связанная с будущим наших стран и народов.

Хочу начать свое слово с напоминания следующего исторического факта.

В июне 1921 года, в Париже, представителями бывших независимых государств Закавказья А.Чхенкели, А.Топчибашиевым и А.Агороняном было подписано соглашение. Согласно этому документу в случае восстановления утерянной независимости исключаются войны между этими государствами и все спорные вопросы должны решаться путем переговоров. Этот документ, обогащенный горьким историческим опытом недавнего прошлого, является своеобразным завещанием грядущим поколениям. Нам было сказано - если хотите иметь право на независимое существование, надо исключить войны и все спорные вопросы решать цивилизованными методами. Вы, уважаемые президенты, должна были стать хозяевами части этого политического завещания, касающейся Армении и Азербайджана. История предоставила вам возможности не повторять допущенных ошибок. Несмотря на то, что вы - ученые-востоковеды и не вам напоминать об этом, но я вынужден, т.к. вы целиком пренебрегли этой мудростью и повели политику уже осужденным историей путем. Злая, неподвластная рассудку игра судьбы. Но - свершившийся факт.

Я здесь не задаюсь целью проводить анализ вашей политики. Сегодня не время этому. Сегодня я бы хотел хоть как-то повлиять на нелогичнй ход событий, не дающий ничего ни одной из сторон, и приведший оба государства к той черте, за которой - пропасть. Под удар поставлено право обоих государств на независимое существование. И в этом вы, уважаемые президенты, одинаково виновны. Сегодня речь не идет о более или менее правом или виновном, ибо под удар поставлено главное. Прошу понять меня правильно - во мне вовсе не говорит убежденный противник вашей политики. И в этой связи хочу отметить: как национальные деятели вы оба правы. Ваши действия отвечают лишь этим традиционным критериям. Но настолько же вы не правы как государственные и политические деятели.

Судя по вашим политическим шагам, мне постоянно кажется, что вы остались верны вашим методам проповедывания и образу действий догосударственного периода своей деятельности. Став государственными руководителями, вы не смогли преодолеть отрывочность мышления и стать выразителями коллективной воли и государственными защитниками интересов народа. Именно поэтому возглавляемые вами власти руководствуются бесхитростным национальным мышлением, превращающим наши народы во враждебно настроенные неорганичные массы.

Желая показаться цивилизованными, два соседних государства передали суду цивилизованного мира проблему, которую должны решать сами, а сами воюют - уничтожают созданное своим же потом и кровью. Невозможно представить более нелепой, бессмысленной и безрезультатной для обеих сторон войны. Трагедия в том, что когда история предоставила нам возможность самостоятельного существования, мы продолжили нескончаемые войны начала века. Так был понят вами завет независимости?

В результате мы вновь докажем, что не имеет государственной мысли и политической воли, и, следовательно, не имеет права на самостоятельную

жизнь. Но разве этого требовали жизненные интересы наших народов, чьими главными защитниками должны были стать вы? Спросили ли вы мнение народов? Не той малой части народов, которая всегда возбуждала межнациональные конфликты и грелась у костра национальной трагедии. Знаю, что такие «патриоты» есть и здесь и там, и их количество растет, пока продолжается война. Если у вас нет государственной воли и решительности противостоять этой разрушительной стихии, то вы должны отказаться от руководства государством и идти продолжать свои митинги. Если же остаетесь, то спросите мнение последователей Ованеса Туманяна и Самеда Вургуна, которых с обоих сторон большинство. Не могло быть так, чтобы вместе с коммунистическим интернационализмом разрушась бы до основания также и мудрость мирной жизни соседних народов - их умение разрешать спорные вопросы цивилизованными методами. Просто создавшееся положение отодвинуло на задний план голос разума обоих народов, что чревато тяжелыми непреодолимыми последствиями. Ядом и ненавистью можно лишь разрушать и уничтожать. Сегодня Закавказье вновь превращено в ад. Углубляющаяся межнациональная ненависть скоро трансформируется в ненависть внутреннюю. Завтра Закавказье станет перед фактом гражданских войн и внутренних распрей, после чего потушить вспыхнувший пожар будет невозможно. Ничего другого и не следует ожидать, т.к. вот уже сколько лет эта страсть разрушения стала обычным явлением, бытом. Собственными руками окончательно и до основания разрушим собственный дом. А потом?.. Новые поколения вновь напишут книги, обвинят друг друга и так - без конца. Значит, что же? Прокляты судьбой и обречены? Окончательно потеряли разум и дарованную нам Богом мораль добрососедства? Нет мира для непримиримых и все? Не хочу и не могу верить, ибо убежден - по обе стороны есть силы, которые могут и обязаны предотвратить бедствие. Обоюдно должны признать: случившееся повторилось вновь, потому что не были психологически готовы к историческому повороту. Потому и встретили его не с высокими государственными мерками, а с психологией гладиаторов. Распад империи был воспринят не как исторический поворот к построению отношений на новых государственных ценностях и вытекающей из них политике, а лишь как сигнал продолжить территориальный спор, прерванный в начале века.

Правом человека, долгое время боровшегося против такой политики, прошу вас остановиться. Сегодня еще можно повернуть ход развития событий. Остановиться на половине беды означает не предать нацию, а проявить государственную мудрость. Нельзя жить на Востоке, иметь президентов-востоковедов и упорно пренебрегать восточной мудростью. История и поколения не простят вас, если будете продолжать подчиняться чужим влияниям и поставите под угрозу будущее Закавказья. Интерес сильных мира сего к Закавказью не ограничивается только лишь мирным и государственным сосуществованием его народов. Поблагодарим всех посредников, которые хотели и хотят нам помочь, и постараемся сами урегулировать свои проблемы. В создавшихся условиях единственно-действенный способ разрешения вопроса - непосредственные прямые переговоры. В международных канцеляриях никогда не смогут найти приемлемого для обоих сторон решения. И самое главное: продолжение интернационализации карабахского вопроса означает продолжение столкновений, углубление ненависти и вражды. В итоге - новые и новые жертвы и лишения. Так ведь это все уже было! И не раз. Таким путем мира никогда не достичь, ибо никто не сможет нас примирить, если мы сами этого не хотим. Это очевидно. Очевидно и то, что сопровождающийся международными обсуждениями вопроса палестинский или другой вариант длительной конфронтации губителен для обоих сторон. Кроме всего этого, предыдущий опыт опосредованных переговоров убеждает, что даже если стороны и придут к соглашению подобным путем, то не трудно будет его сорвать. Подтверждение тому - провал тегеранских переговоров.

Волей-неволей вопрос оказался в заколдованном кругу, выйти из которого можно, только лишь начав непосредственные армяно-азербайджанские переговоры. Жизненные интересы двух наших народов в отдельности и единая, собирательная их выгода требуют немедленно прекратить столкновения и без предварительных условий начать двусторонние переговоры. Трудная и тяжелая задача. Безусловно трудная, поскольку жертвы и лишения так приумножились, пропасть вражды настолько углубилась, что кажется - ее не преодолеть. Однако иного выхода из создавшегося положения нет. Сами создали эту ситуацию, сами и должны ее преодолеть. Никто вместо нас этого не сделает. История будет измерять вашу состоятельность как политических и государственных деятелей, отталкиваясь от вашей способности разрешить эту сложную задачу. Оставьте в покое СБСЕ и ООН. Эта ситуация создана не ими. Признайте долю вашей вины в создавшемся положении, вспомните известные слова Уинстона Черчилля о создании и преодолении трудностей и действуйте. Вы руководите государствами именно для того,

чтобы преодолевать трудное. При проявлении государственной воли и политической дальновидности (что включает и возможную утерю власти), невозможное станет не только возможным, но естественным и необратимым. Тем более, что вы будете постоянно ощущать дух мира большинства своих народов. Общепризнанные и принятые критерии человеческого сосуществования помогут не только выйти из карабахского противостояния, но и трансформировать его в начало дальнейших цивилизованных отношений двух народов. Карабах может стать символом мирного сосуществования двух народов. Пусть те, кто назвают нас дикарями, приедут в Карабах, увидят и удивятся свершившемуся. Мы обязаны быть настолько сильными, чтобы воздвигнуть памятник нашим невинным жертвам с надписью : «Вечный позор тем, кто в XX веке дважды втянул два соседних народа в бездну вражды и бойни».

Давайте поменьше сваливать вину на других и оценивать происшедшее на основе собственных заблуждений - дабы окончательно избавиться от яда и ненависти. Это у меня не идея-фикс, поскольку государственные отношения наших народов по другому я не представляю. Неестественно для меня происходящее сегодня. Вот почему я захотел вас заинтересовать не адскими картинами войны, а картинами человеческой, естественной и гармоничной жизни оборотной ее стороны. Для решения этих сложных задач одного желания недостаточно. Одним желанием в политике ничего не бывает. Можно говорить о мире и бесконечно продолжать войну. Сегодня стороны хотят мира, однако война продолжается. И сейчас воюем, говоря о мире - поскольку слабы. А для слабых легче продолжать беспорядочные бои. Если мы на самом деле государства, то обязаны быть сильными и преодолеть выпавшее на нашу долю испытание. Для достижения этого нам предстоит пройти длительный и трудный путь.

Для достижения мира вам, руководителям государств, прежде всего необходимо преодолеть политическую двойственность. После этого следует полностью перестроить политику, государстенную структуру с инфраструктурами в соответствии с логикой мира. Только после этого дадут результаты обоюдные усилия и целенаправленные практические шаги. Если сказанное покажется вам эмоциональным и несбыточным, то прошу вглядеться проникновенным взором в грядущее. Там вы увидите завет будущего: «Срочно придите к соглашению, время истекает». Вы распоряжаетесь судьбами народов и обязаны быть яновидцами. Уверен, если вы не начнете борьбу с принципиальностью, подобающей руководителям государств, и в кратчайшие сроки не заложите основ мира, итория вас не простит. Если продолжите приспосабливать государственные дела к вашим политическим взглядам, то недалек тот день, когда вы встретитесь в одном из парижских трактиров, обниметесь, поплачете и проклянете губительную войну, как А.Топчибашиев и А.Агаронян. Лишь тогда вы почувствуете теплоту разрушенной вашими же руками земли, тоску по ней и друг в друге будете искать ее утоление, «как Агаронян и Топчибашиев. Так же напишите, как завет грядущим поколениям, слишком запоздалую мудрую бумагу: «Если история вновь предоставит случай Армении и Азербайджану стать независимыми государствами, исключите войну. Все спорные вопросы решайте цивилизованными методами», - как в 1921 году сделали Топчибашиев и Агаронян.

Возможно, ваша встреча произойдет в другом месте или вы не обниметесь, как они.

Несомненно, написанная вами бумага тоже будет отличаться от той. Возможно. Так как история не повторяется в точности.

Возможно также, что я ошибаюсь. Все возможно в этом мире. Но достоверно и неколебимо одно - без утверждения прочного мира между Арменией и Азербайджаном под ударом право свободной и самостоятельной жизни двух соседних народов. Главное - это.

Остальное - повеление времени.

Будьте снисходительны к моему наставническому тону и простите за грустную концовку.

Ктрич САРДАРЯН,
бывший советник президента
Республики Армения
19 февраля 1993

о.Александр МЕНЬ

РОЖДЕСТВЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ: «КАРАБАХ» ИЛИ «ВИФЛЕЕМ»

Говоря «Карабах», я имею в виду не только эту «горячую точку» нашего отечества. Он - собирательный символ бесчисленных трагедий, которые стремительно следуют одна за другой на самых разных широтах Земли.

Пусть различны конкретные причины, вызывающие то тут, то там вспышки озлобления и насилия, остается общая картина беды. Площади Пекина и Тбилиси, Ольстер и Иерусалим, Сумгаит и Кабул, Африка и Латинская Америка... Даже традиционно миролюбивая Индия стала ареной кровавых столкновений. Невольно рождается чувство, что народы и племена, страны и правительства, вожаки и толпы - весь род человеческий фатально катятся в бездну самоистребления.

Идеологии и традиции, политические и национальные лозунги, культы и языки становятся оружием, направленным против человека. Говорят, что самая противоестественная война - война гражданская, которую так страшно изобразил Сальвадор Дали на своем знаменитом полотне. Однако не пора ли наконец признать, что мы стали свидетелями мировой гражданской войны всех детей Адама, терзающей его единое тело?

Она не утихает ни в дни боевых действий, ни в дни «мира». Террор и ненависть не знают перемирий. Их подогревает неслыханный рост беззаконий, преступности, наркомании. Кажется, наш век, сломав какую-то преграду, оказался перед лицом разъяренных волн. Это происходит на наших глазах, но началось это не сегодня и даже не вчера.

Грозная песнь реквиема о «Дне Гнева» звучит над Землей уже десятки лет. Надо ли напоминать? Буйство нацистов, сталинцев, полпотовцев... Слишком велик и страшен перечень. Забыть? «Спрятать голову под крыло»? Но разве это может изменить что-либо в эскалации демонизма?

И сегодня, как две тысячи лет назад, над клокочущим миром снова горит Рождественская Звезда, Звезда Вифлеема. Призыв и предостережение Вечности, обращенные ко всем нам. Вот почему Рождество - это не только «детский праздник», не просто «праздник семьи», праздник веселья и отдыха, каким его подчас делают во многих странах мира.

Для некоторых Рождественская Звезда - не более чем украшение на елке, и тем самым они выхолащивают глубинный смысл этого священного дня.

Звезда Христова напоминает людям об их высшем призвании. О той священной искре, которую Творец заронил в них, чтобы они превратили ее в живительное пламя любви и свободы, веры и творчества, милосердия и солидарности. Когда-то Николаю Бердяеву предложили известный софизм: может ли Бог создать такой камень, который Сам не смог бы сдвинуть? И философ быстро ответил: этот камень - человек.

Церковь всегда учила, что спасение человека от зла, а с ним и всей природы, невозможно без активного участия самих людей. Мы - образ и подобие зверя, но в том, что составляет главную нашу сущность, мы - образ и подобие Создателя. Поэтому свобода, наше неотъемлемое свойство, призвана служить преображению зверя, реализации тех чудесных потенций, которые заложены в нас. Но возможно ли это, если человек будет исходить только из самого себя?

Вот уже несколько веков мир тешится такого рода иллюзией. Он старается не замечать «Вифлеема», не видеть кроткого сияния той, евангельской звезды.

Упоенные наукой, гордясь своей властью над стихиями, мы, люди, слишком долго рассчитывали на познание законов природы, от которого ждали мира и счастья. Но этого не произошло. Попав в руки зверя, наделенного рассудком, знание не только не спасло цивилизацию, но и стало ее «Memento mori», ее домокловым мечом. И повинны здесь не само знание, не разум, данный человеку от Бога, а помраченность духа, оказавшегося бессильным перед стихией зверя. Мы, люди, рассчитывали на идеалы секулярного, светского гуманизма, которым так гордилось истекшее столетие. Оно считало, что уже не нуждается в свете Вифлеемской Звезды, ибо нашло свои нравственные скрижали. Однако скрижали эти оказались хрупкими, как стекло, первые же удары мировой войны разнесли их вдребезги. Гуманизм был безжалостно раздавлен сапогом диктаторов, политических маньяков, разбушевавшихся толп. Оказалось, что зверь лишь притаился и, набрав сил, вновь понесся по планете, круша все на своем пути. И опять-таки дело не в гуманизме как таковом, а в забвении высших, божественных истоков Добра.

Мы, люди, думали, что техника, комфорт, быт, обеспечивающие оптимальные условия труда и отдыха, решат все проблемы. Но пример высокоразвитых стран доказал, что этот расчет - иллюзия. Пример высокоразвитых стран красноречиво показывает, какими нравственными, культурными и экологическими опасностями чревата техническая цивилизация, куда ведут пресыщение, «этический материализм», жадное и неутолимое «потребительство». Разумеется, хорошо, когда люди сыты, одеты, имеют нормальное жилье и могут пользоваться достижениями техники в быту. Но превратить это в единственный идеал - значит сделать смысл жизни ущербным, ввести человека в тупик бездуховности. Мы, люди, веками

грезили о таком преобразовании общества, которое принесло бы всем благоденствие и процветание. Где воцарятся Свобода, Равенство и Братство. Но еще опыт террора в дни Французской революции явился предупреждением, прообразом всего, что совершалось в наш век. Если священным на земле становится не человек, его жизнь, право и достоинство, а общественный порядок, то во имя этого порядка можно истреблять тысячи, а потом миллионы, словно ничтожную накипь или плесень. И снова нужно признать, что идея улучшения социального порядка как таковая обладает величием и ценностью. Однако, став самодовлеющей, претендуя на роль религии, попирая личность, она приходит к обратным результатам. Хочу напомнить, что рецепты «всеобщего счастья» пришли к нам из глубины веков.

Не зародился ли культ науки еще в античные времена, не тогда ли эпикурейцы проповедывали гедонизм, культ наслаждения (хотя, впрочем, сам Эпикур в этом не был повинен)? Не Платон ли создал свою систему полицейского государства, из которого ради «блага граждан» изгонялись поэты, вольнодумцы, инакомыслящие?

Из прошлого пришла к нам и зловещая идея насильственно навязанной религии. В том, что такая идея вознила, нет ничего удивительного. Если Свободу, Равенство , Братство превращали в террор и новые виды порабощения, почему так же не могли поступить и с религией?

Но ведь религия, скажут, в отличие от культа науки, от гедонизма, от секулярной этики, от политических утопий, ориентирована на Дух, на Высшее начало. Это, бесспорно, так. Но когда она становилась инструментом в руках власть имущих, когда ее исповедники действовали путем внешнего принуждения, вера утрачивала свою подлинную природу, превращалась в служанку политических страстей и «интересов» той или иной общественной группы. Во многом современный духовный кризис несет в себе отдаленные последствия именно этой подтасовки, этой метаморфозы религии, омраченной фанатизмом, насилием, слиянием ее с тем или иным государственным порядком (неизбежно несовершенным).

«Карабах» (повторяю - в широком, историко-символическом смысле слова) явился не на пустом месте. Сегодня мы начинаем понимать, что, хотя мир многое приобрел, потерял он еще больше. Наступает время решения и выбора. О нем напоминает нам Звезда Христова, день Рождества, когда вифлеемские пастухи услышали песнь: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда родился Сын Человеческий, Сын Божий, в поток истории вошла новая сила, сила любви и духовного преображения. Всем, кто идет за этой Звездой, она дает не только ориентир в темном мире. Она вливает в них таинственную энергию Духа, помогающую раскрыть образ и подобие Божие. Христос идет к людям не в ореоле земной мудрости, не на плечах легионов, не с хартией социальных доктрин. Слово

Евангелия обращено к сердцу и разуму человека, чтобы не просто изменить его «идеологию», но чтобы сделать его «новым творением».

Между тем мир стоит на распутье, дойдя до последней роковой черты. Она может обозначать закат цивилизации.

Когда-то фарисеи, превозносившиеся своим вековым наследием, говорили: «Мы сыны Авраама». На что Иоанн Креститель возразил им, что если они не покаются, Бог может из камней создать новых детей Авраамовых.

Точно так же в наши дни мы должны знать, что, если не найдем верной дороги, наше столетие может стать последним в истории. Не волен ли Творец начать ее сызнова - с малых островков, которые останутся после ядерной катастрофы? Или вообще с другой планеты, с другого человечества?

В это не хочется верить.

Когда я гляжу на рублевскую Троицу, невольно вспоминается древнее библейское повествование, подсказавшее сюжет великому иконописцу. Бог в образе трех Странников явился на землю, чтобы последний раз испытать нечестивые и греховные города. И Авраам, «отец верующих» молил о том, чтобы города были пощажены ради горстки праведников. Увы, их нашлось так мало, что Бог предпочел вывести их из обреченных Содома и Гоморры.

Но среди нас, христиан, живет надежда, что наш общий дом, наша Земля, все прекрасное, созданное человеком, избежит этой участи. Мы думаем о жертвенности и героизме подвижников, о молитве и борьбе, о служении ближнему и милосердии, освещающих ночь XX столетия. Мы вспоминаем о верности Христу - даже до смерти - таких людей, как российские новомученики и Мартин Лютер Кинг, о матери Марии и героях Сопротивления, о тех, кто сберег чистоту духа в царстве безумия и злобы, о святости русского старца Силуана, жившего на Афоне, о матери Терезе и ее сподвижниках в Индии, о возвышенных и благородных мыслях Бердяева и Тейяра де Шардена, о самоотдаче Махатмы Ганди, Дитриха Бонхеффера и епискома Элдера Камары. О врачах и учителях и о бесчисленных других наших современниках, которые бросили вызов царству бездуховности, алчности, потребительства, зла и насилия. Они явили миру верность Христу, хотя иные из них и не были в своем сознании христианами. Но не говорил ли Сам Христос: «Не всякий говорящий Мне: «Господи, Господи!» войдет в Царство Небесное, а исполняющий волю Отца Моего Небесного»...

Мы также верим, что эта неодолимая сила Добра коренится не только в природе человека, существа раздвоенного и противоречивого, а питается из того Источника, Который создал, поддерживает и животворит Вселенную.

Он ждет нас. Он открыл Себя нам. Теперь наш черед дать Ему ответ.

Александр Мень. Культура и духовное восхождение.
М.,«Искусство»,1992,с.413-423



Один из самых больших эстетических шоков моей зрительской жизни связан с театром «Арлекин» Сергея Мелконяна... Эстетических шоков, переходящих в художественные шики.

В самый расцвет унылейшего застоя, вялого прохлаждения и прозябания в стране Ничегонельзянии - в 1980 году - в Доме культуры Московского университета появилась нахальнейшая, вызывающая афиша. Некий незнакомый мне театр-ансамбль с будоражащим именем «Арлекин» приглашал на неизвестную мне пьесу Павла Антокольского, посвященную любимейшему мной, всегда полуподпольному всем временам, Франсуа Вийону... Да еще с подзагаловком: "рок-опера".

Спектакль шокировал - и не столько новизной ощущений (хотя и это было) - сколько вызывающим вопрекизмом жизни, поперечным времени зрелищем...

Это был явный вызов. Он был тут же принят, понят, и назавтра же очередной показ - запрещен. Хотя театр был тогда еще вполне легальным...

... Вскоре я подружился с «Арлекином» и наблюдал его в разных обстоятельствах. И в отчаянной, почти безнадежной борьбе - с попыткой купить режиссера постановкой в престижных театрах, но ценой умерщвления его театра...

И в моменты, когда даже Система, переутомившись, отступала от них, даря театру нежданную, внезапную передышку.

И всегда поражался лицедейскому норову, зрелищному гонору и эстетической независимости Сергея Мелконяна и его актеров.

Ну что бы особо ядовитые реплики в самых острых импровизациях коронного их спектакля «Король-Арлекин» (пьеса Лотара, исполненная в традициях итальянской комедии масок - дель арте) попридержать в актерских ртах до лучших времен? И до более своей публики?

Нет, у них - сатирическое недержание...

Их жалящие и разящие языки особенно развязываются и резвятся в самые «судьбоносные» для них моменты: когда в зале сидит грозная «минкультуровская» комиссия (в еще «доперестроечные» времена, разумеется) во главе с самим Замом министра культуры, приехавшая аккурат для окончательного захоронения театра (предварительно он для них был мертв - всегда, даже когда был открыт лишь для участия в культурной программе Московских

Олимпийских Игр)...

А актеры на сцене не только «хулиганят» про парт-аппарат-продукт-пайки, но еще и назвали в зал иностранцев, включая дипломатов (что в те времена было крамолою и вызовом чуть ли не большими, чем криминал с чистою партсатирою.)

Но поражало в них и другое - какая-то особая тщательность и особенная, нездешняя, культура при организации закулисного пространства, при оформлении кабинетов, при импровизированных пресс-конференциях... (О, сколько же- не счесть! - залов, подвалов, комнат, помещений отремонтировали, пересоздали и преобразили по=арлекински на все лицедейские руки артистичные мастера за годы своих печальных, драматичных и озорных скитаний...)

Чем-то всегда международным, по-настоящему масштабным веяло от театра, даже загнанного в угол, даже лишенного всего... И когда Время совершило свой крутой, головокружительный вираж, когда посыпались даже казалось бы вечные головы и рассыпались в одночасье даже устойчивейшие судьбы - битый-перебитый вождь-фигляр Сергей Мелконян знал, что ему делать.

«Я сумею защитить свой театр от очередных переворотов Времени и загзагов судьбы» - таков был лейтмотив его разговоров и размышлений в первые дни новой эпохи.

«Выпускник» армянских дискотек, прямо или косвенно учившийся у Ваграма Папазяна и Рачия Капланяна, окончивший Московский институт культуры и стажировавшийся в Большом драматическом театре у Георгия Товстоногова, Сергей Мелконян стал стремительно набирать опыт коммерсанта и бизнесмена...

Так режиссер, актер, музыкант, композитор и педагог, который строил театр, дерзко сочетавший пантомиму и цирк, зонг и балет, клоунаду и трагедию, маску и драму, то есть Театр широчайшего диапазоне, - становится еще и крутым финансистом, президентом крупной международной корпорации...

Горький опыт лицедейского изгнанничества, предательства коллег, коварства властей научил его доверять только себе. Не искать спонсоров, не обольщать меценатов, не надеяться на благодетелей, а... все взять в свои руки. Создать свое дело и тем обезопасить свое главное детище - Театр - от капризностей экономики, от превратностей судьбы, от шараханий политиков...

Вокруг театра, как бы резвяся и играя, как ставя собственный спектакль, а не серьезное бизнесменское действо, Сергей Мелконян начинает стремительно плести сети коммерческих структур, все время опережая динамику возможного и допустимого. Так, собственную прессу театр начал делать еще в 1989 году, на год опередив революционнейший «Закон о печати» еще старого Союзного парламента...

Сегодняшняя международная корпорация Сергея Андреевича Мелконяна (а первые, еще европейские гастроли театра были разрешены его актерам только в 1989 году!) помимо чисто творческих организмов (театр, издательский центр, информационно-рекламное агентство и пр.) включает автосалон и туристическое агентство, торговый центр и бизнес-клуб, банковские службы и фонд поддержки культуры, разветвленную систему шоу-бизнеса и пр.

Аналогичный московскому театру, «Арлекин» создается в США (в Лос-Анджелесе) и тоже, уже оттуда, начинает стремительно обрастать коммерческими, фондовыми, банковскими структурами, объединяясь с московскими аналогами...

А филиалы, представительства их начинают создаваться в Армении, Израиле, во многих городах и странах Европы, Америки, России... И все это

только самое начало: по крайней мере, несмотря на впечатляющий размах и бурные процессы, в коммерческих структурах московской части корпорации мне убежденно говорили, что настоящий расцвет арлекинского бизнеса надо ожидать в ближайшие год-два, а сейчас только-только все начинается. Но на дрожжах даже нынешних финансовых процессов - стремительно меняется собственно театр... Внешний вид спектаклей обновился практически полностью. В труппе появилось целых три (!) собственных оркестра - струнный, инструментальный, народных инструментов.

Не только своя театральная студия, но и лицей, и колледж.

Свой пошивочный цех, своя мастерская, которая не только обслуживает основный театр, его филиалы, но и ведет собственную коммерческую деятельность, способна выполнять заказы других трупп и коллективов...

И вот уже и сам «Арлекин» может стать спонсором различных шоу-зрелищных экспериментов, может поддерживать тех, кто представляется ему близним и перспективным. В частности, готовится стать спонсором масштабного международного фестиваля экспериментальнго искусства «Арлекиниада-95».

... А сам же бизнес по-мелконянски, коммерция по-арлекински - род необыкновенного Театра. Азартная Игра, острый и темпераментный спектакль, который им ставится по тем же законам чистого искусства, что и на основной «арлекинской» сцене.

В любопытнейший и совершенно новый для нас спор современных финансов и банкиров: что же такое бизнес - спорт? борьба? («наука!» - ответил в недавней телепередаче ушедший в эту сферу ученый.) - Сергей Мелконян мог бы внести совершенно особые краски. Конечно - Театр. С кульминациями... С репликами в сторону... С драматическими и комическими столкновениями... С фантазией и интуицией, какие присущи только Художнику, а не чистому торговцу... Со сверхзадачей, с подтекстом и, конечно, азартной Игрой...

По словам молодых экономистов, привлеченных в коммерческие структуры корпорации Сергея Мелконяна, но успевших повращаться в других фирмах и офисах, в том числе международных, - их поражала здесь совершенно особая и для бизнеса небывалая атмосфера - студийности и творчества... Коммерция здесь не сфера деятельности, а, как и искусство, - своеобразное состояние души, образ жизни... Поражало и почти безрассудное для финансовых зубров - доверие к молодежи, ставка на риск и поиск, а не на более уместные расчетливость и солидиность. Словом, как и во все на свете - Сергей Мелконян и в эту новую для него (и для нас!) сферу вносит чисто Авторское, свое особенное Художническое - начало.

Это не разрыв человека - надвое... А воссоединение в себе всех начал в полном объеме... Вот и театр, и бизнес - объединяются здесь все теснее. И чисто коммерческие замыслы - например, аукцион пердметов народного промысла, - уже изначально планируется с участием оркестра народных инструментов, с импровизациями актеров...

А в недрах самых крутых финансовых затей этого странного нового предприятия, аналогов которому трудно найти в современном мире, рождаются вполне художественные обобщения:

Корпорация Сергея Мелконяна - это бизнес ради ИСКУССТВА
это искусство делать БИЗНЕС!

А нас, несомненно, еще ждут эстетические эмоции при встречах с очередными бизнес-премьерами Сергея Мелконяна и его шутов и бизнесменов...

Борис СЛУЦКИЙ

ПАМЯТНИК АЛФАВИТУ В АРМЕНИИ

Царей не славословя,
Не льстя тиранам,
Армяне славу слову
Сложили и армянам
Сейчас легко и радостно-
Смотреть на этот камень,
По камню лестниц шаркать,
Перед каменною азбукой
Ломать свои шапки.

Что букваря скромнее?
Что азбуки проще?
А все же перед нею
Все подвиги - непрочные.
Да, все завоевания
Царей и ханов пря
Не стоят и названия
Простого букваря.

* * *

Пятиконечная звезда с шестиконечной
поспорили на кладбище еврейском,
кто просияет среди ночи вечной
покойным острякам и юморескам.

Пятиконечная звезда: майоры
госбезопаснсоти, а так же просто
врачи, поэты, забияки, еры
и конармейцы башенного роста.

Шестиконечная звезда: раввины,
а также их безграмотная паства,
та, что по части прописей - невинна,
но уважает вещное богатство.

Сначала наступала пентаграмма,

а могендовид защищался вяло,
и все редели в метриках Абрамы,
и фининспектор побивал менялу.

Но видно, что-то знает и готовит
не менее исконный и извечный
похожий на отмычку могендовид -
все шесть концов звезды шестиконечной.

* * *

Сады плодоносят скорей и скорей,
Кулаки своих яблок стиснув,
пробуждаются, как в еврее - еврей
под влиянием антисемитизма.

Им на пользу идут зима и весна,
как еврею идут на пользу
любого качества времена
из-за его упорства.

Выморозить нельзя сады,
их можно только выжечь.
С евреем тоже напрасны труды,
он умудрится выжить.

Тяжелые яблоки висят
и объявляют: зреем.
А я доволен, что первым
сад
сравнил в стихах с евреем.

* * *

Опять возвращаются к старой истории о Христе.
Опять на заимствованные в увражах пейзажи
текут малолюдные толпы к Голгофе. К той высоте,
что в общем равна Безымянной. Но при других персонажах...

Несчастные римские воины, разбитые на Дону,
опять обтекают высотку, похожую на Голгофу.
а их штабные и кормчие испуганы, бестолковы,
а жить им осталось до смерти
и, стало быть, - ночку одну.

У древней этой истории опять отношение есть
к новейшей нашей истории, где честь
и лесть
и месть
остались точно такими, какими они и были.
Прольются потоки крови.
Поднимуться тучи пыли.

МОНУМЕНТ ШТИБЛЕТАМ

Огромные были ступни
у Принципа, у Гаврилы!
Как много уму они
и сердцу они говорили,

когда на углу я стоял,
чтоб в надписи разобраться:
«Здесь Принцип Гавриле стоял,
стреляя в Габсбурга Франца».

В бетон запечатлены
огромные эти штиблеты.
Вот здесь он стоял у стены.
Жаркое было то лето.

И как ни узка стезя,
но набережная уже
и промахнуться нельзя,
и сам не знаешь, что хуже.

И вот приходит момент
стрелять в ландолет семейный.
Не ставить же монумент
зачинщику бойни всемирной.

Ведь он не погибнул в ней,
Начавшейся тем же летом.
Довольно с него и ступней.
И вот монумент штиблетам.

ГЕРАНИ В ОКНЕ

На последней инстанции истины,
как во всяком другом тупике,
афоризмы особенно выспренны -
бьются словно синицы в руке.

Там, на этой последней инстанции,
как на путь завершающей станции,
где оканчивается полотно
и движение с ним заодно.

А на станции той - за горами,
за долами, как видится мне,
расцветают одни лишь герани
у телеграфиста в окне.

И отнюдь не законы природы,
не начала ее, не концы,
просто там посреди огорода
возрастают в тиши огурцы.

КОМУ ЖЕ ЛУЧШЕ

Пайка неба в затворе, в больнице, в загоне
обрезается обрезом окна.
но особенно невелика в погоне,
где все небо застит вражья спина.

Не люблю быть гонимым и настигаемым.
Настигающим быть не могу, не хочу.
Вдруг становится дальним и недосягаемым
небо.
И на ходу, на бегу

останавливаешься и разводишь руками.
Понимаешь отчетливо вдруг:
небо
с ангелами и облаками
ускользнуло из рук.

*А гонимый бежит, задыхается,
но ему мстится,
что хотя он гоним,
небо - все!
Все небесные спутники, тучи и птицы
перед ним!*

* * *

*Стихотворенье, как миров творение,
успешней тем, чем откровеннее.
От всей души сотворена земля,
от чистого
луна дана ей
сердца,
и некуда от искренности деться,
пока вокруг тебя моря, поля,
покуда над тобой луна, планеты,
другого, кроме искренности, нету
пути.
Соврешь - себе же повредишь,
и вот очки привычные снимаешь,
и детским взглядом пристально глядишь,
и все на свете верно понимаешь.*

* * *

*Головы приходили с повинной,
то есть, с признанной виной,
не с улыбочкой невинной
меч их сек - все до одной.*

*Пусть пословичны,
по стародавности
всеми признаны их права -
несмотря на все богоданности,
шумно падала голова.*

* * *

*То ли в одеяло,
то ли в тогу
завернувшись,
отбываем к богу.*

Заворачиваемся
поплотнее -
в зоне бога
много холоднее.

Ветры дуют,
воют, завывают -
все наши одежки
обрывают.

* * *

Сверх программы, помимо меню,
сверх меню, помимо программы,
раз в году или миг на дню
умножаю свои килограммы.

Я отращиваю вершки
до почти богатырского роста,
отметая чужие смешки,
совершаю подвиг геройства.

Что мне труд ежедневный, быт
обыденный - пусть будет забыт.
Ощущаю в теченье мгновенья
мановенье вдохновенья.

И такие оркестры трубят!
И такие флажки на вехах!
Мир юнее малых ребят
и мудрее древних и ветхих.

И блестят мои купола,
и гудят мои колокола,
потому что - была не была -
жизнь не вовсе даром прошла.

Евгений АГРАНОВИЧ

ЕВРЕЙ - СВЯЩЕННИК

Еврей-священник, видели такое?
Нет, не раввин, а православный поп,
Алабинский викарий, под Москвою,
Одна из видных на селе особ.

Под бархатной скуфейкой, в черной рясе
Еврея можно видеть каждый день,
Апостольски он шествует по грязи
Всех четырех окрестных деревень.

Работы много, и встает он рано,
Едва споют в колхозе петухи,
Венчает, крестит он, и прихожанам
Со вздохом отпускает их грехи.

Слегка картавя, служит он обедню,
Кадило держит бледною рукой.
Усопших провожая в путь последний,
На кладбище поет за упокой...

Он кончил институт в пятидесятом,
Диплом отгрохав выше всех похвал.
Тогда нашлась работа всем ребятам,
А он один пороги обивал.

Он был еврей - мишень для шутки грубой
Ходившей в те неважные года,
Считался инвалидом пятой группы,
Писал в графе «национальность» - «Да».

Столетний дед - находка для музея,
Пергаментный и ветхий как талмуд,
Сказал: «Смотри на этого еврея,
Никак его на службу не возьмут.

Еврей, скажите мне, где синагога?
Свинину жрущий и насквозь трефной,
Не знающий ни языка, ни бога...
Да при царе ты был бы первый гой».

А что? Креститься мог бы я к примеру,
И полноправным бы родился вновь.
Так царь меня преследовал за веру,
А вы - биологически, за кровь.

Итак, с десятым вежливым отказом
Из министерских выскочив дверей,
Всевышней благости исполнен сразу
В святой Загорск направился еврей.

Крещенный без бюрократизма, быстро,
Он встал, омытым от мирских обид,
Евреем он остался для министра,
Но русским счел его митрополит.

Студенту, закаленному зубриле
Премудрость семинарская - пустяк.
Святым отцам на радость, без усилий
Он по два курса в год глотал шутя.

Опять диплом, опять распределенье...
Но зря еврея оторопь берет,
На этот раз без всяких ущемлений
Он самый лучший получил приход.

В большой церковной кружке денег много.
Рэб батюшка, блаженствуй и жирей.
Что, черт возьми, опять не слава богу?
Нет, по-людски не может жить еврей!

Ну пил бы водку, жрал курей и уток,
Построил дачу и купил бы ЗИЛ,
Так нет, святой районный, кроме шуток
Он пастырем себя вообразил.

И вот стоит он, тощ и бескорыстен.
И громом льется из худой груди

На прихожан поток забытых истин,
Таких как «не убий», «не укради».

Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.

Еврей мораль читает на амвоне,
Из душ заблудших выметая сор...
Падение преступности в районе
Себе в заслугу ставит прокурор.

1962

Владимир КЛИМОВ

ВЫБОР

если потемнеет вокруг -
проверь, не в твоих ли глазах потемнело?

если рухнет мир -
проверь, не ты ли умер?

ДВУСТРОЧИЯ

птица
не могла приземлиться
и пришлось ей себя излетать

полушарие мира
полушарие слов
и экватор меж ними - поэзия.

О, ЛИЦА...

Земля - сплошная лицотека
собранья сочинений лиц

Владимир ГРОЙСМАН (Иерусалим)

СЛОВАРИК

Русская речь и еврейская речь,
Два языка расставаний и встреч,
Вечного ветра надрывное пенье,
Гибель и пропасть, любовь и терпенье,
Русская речь и еврейская речь.

Русская речь и еврейская речь,
То не растратить и это сберечь.
Глупое сердце - чему оно верит?
Русские реки и синий Кинерет,
Русская речь и еврейская речь.

Черные горести, смертные муки,
Бедной надежды и памяти звуки,
Дудочку делать и поле стеречь.
Словно не будет последней разлуки,
Верьте мне на слово, дайте мне руки,
Русская речь и еврейская речь.

Низаметдин
АХМЕТОВ

Уголок



Низаметдин Шамсутдинович Ахметов родился 18 марта 1949 года в башкирском селе недалеко от станции Кунашак в Челябинской области. Когда его родители переехали в Кунашак, он пошел в русскую школу, которую окончил в 1966 г. В том же году он окончил профтехучилище в Челябинске и по оргнабору отправился в Ташкент на восстановительные работы после землетрясения. Арестован 13 сентября 1967 г. и провел в заключении почти 20 лет по различным обвинениям политического характера. Об этом он подробно написал в автобиографической повести «Улица Свободы» (см. «Юность», N 3, 1990). В мае 1969 г. Н.Ахметов встретился в Ташкентском следственном изоляторе КГБ с Ильей Габаем. Об этой встрече рассказано в очерке «Ровесник Гагарина» («Юность», N11, 1990).

В заключении Низаметдин начал писать стихи. В 1978 г. он сумел переправить из лагеря на Запад два своих стихотворения и обращение заключенных о помощи, адресованное западной общественности. Эти тексты были опубликованы в русской эмигрантской периодике. С тех пор за рубежом началась борьба за освобождение Н.Ахметова. В январе 1983 г. Низаметдин записал 43 стихотворения на обороте очередного приговора; из Красноярского следственного изолятора они попали на Запад и тоже были опубликованы. В 1984 г. Н.Ахметов был награжден премией фонда «Rotterdam International Poetry». В 1986 г. американская общественная организация «Freedom of writers commitee» присудила Н.Ахметову свою ежегодную премию. В годы заключения Н.Ахметов был избран почетным членом английского, французского, датского и австрийского PEN-клубов. В последние годы некоторые из этих стихов появились в русской периодике, в частности в «Литературной

Однажды заяц перебежал гору, но гора этого не заметила (турецкая пословица)

* * *

Я был у ворот дома на перекрестке в 8.30 и рассчитывал оказаться первым. Действительно, у проходной торчали, изображая ранних посетителей, только два располневших спецмолодчика. Они внимательно следили, как я перехожу улицу, их глаза ощупывали неровности на моей одежде, особенно же - мою пляжную сумку. Это была дешевая и сильно вытертая сумка с оторванными застежками верха. Но на ней еще можно было разглядеть изображения пингвинов в плавках и темных очках, разгуливающих по белому песочку со своими пингвинихами и пингвинятами. Трудно было представить, что террорист носит свою вонючую бомбу в такой симпатичной сумке.

Календарь показывал весну, но было жарко, как в июле. С самого утра, лишь только солнце растекалось по улицам города, начиналась баня. А спецмолодчики дубачили в костюмах. Бедолаги, они сухарились за немцев и стояли на самом солнцепеке.

Желая подыграть своим парням, я поздоровался с ними по-немецки и спросил,

газете».
23 июля 1987 г., через полтора месяца после освобождения, Н.Ахметов уехал в ФРГ. Он поселился в Гамбурге и работал над романом «Камешки для кумалака бабушки Шамсии» (отрывки из него см. в «Искусстве кино», N5, 1991). В 1988 г. в западногерманском издательстве «Fischer» вышел сборник его стихов и прозы в немецком переводе.
Все, что пишет Н.Ахметов, имеет автобиографическую основу. В «Уголке России» повествование построено вокруг возвращения писателя на родину: это произошло в начале ноября 1990 г. Причины возвращения в рассказе не объясняются, читатель может реконструировать их по-разному.
В другом тексте он более подробно рассказывает о том, как выбросил свой советский заграничный паспорт, отрезав возможность вернуться в Россию легально: «Я выскочил из консульства раздраженный и злой как вскипевший чайник и бросил паспорт в канал, не осознавая, что совершаю некий языческий обряд. Язычество выпрыгнуло из меня нежданно и незванно. Я, внук бабушки Шамсии, бывший в предыдущем, тринадцатом, своем рождении женщиной-рыбачкой в средневековой Ирландии, пытался надуть судьбу, подсунуть ей куклу: паспорт с моей фотографией, сделанной в челябинском дурдоме, поплыл по каналу в Альстер, Альстер вынес его в Эльбу, Эльба - в Северное море, в нейтральные воды... Наверняка это был глубоко символический акт».
Сразу после перехода границы Низаметдин был арестован и затем переведен в Челябинск. В феврале 1991 г. его освободили, уголовное дело о незаконном переходе границы было прекращено. Так Низаметдин стал, быть может , первым из политэмигрантов, вернувшихся в Россию в период распада коммунистического порядка.
Хотя дело, на мой взгляд, не в «первости». Для меня важна здесь не поврежденнная ничем целостность личности: образ человека, который живет, целиком отдавая себя ситуации, не умея думать о «за и против», о гарантиях и запасных вариантах.

Сейчас писатель живет в Читинской области, воспитывает дочь Мариам и работает над следующим текстом.

Сергей ЛЁЗОВ

за кем из них будет моя очередь. Парни обратили друг к другу потные спецрожи и стали препираться взглядами, кому отвечать. Наконец один из них показал рукой вглубь улицы: *«Да! Дорт! Битте!»*. Я посмотрел и ахнул: там, в тени большого каштана прятались от солнца по меньшей мере два десятка посетителей.

Еще два года назад, когда я впервые побывал в доме на перекрестке, здесь не было никаких очередей. Этот дом имел плохую репутацию: ходили слухи, что там бесследно исчезают люди. Никто не мог мне сказать конкретно, с кем такое случилось и когда именно, но все же я поехал туда в сопровождении немецкого чиновника и одной милой поэтессы из Новой Зеландии, гостившей в Европе после кембриджского конгресса ПЕНа.

Ничего страшного с нами не произошло. Нас принял вице-консул. «Добро пожаловать в наш маленький уголок России!» - поприветствовал он нас и пригласил в отдельную комнату. Там мы пили кофе и учтиво беседовали. Правда, дело, с которым мы явились, не выгорело, но мы убедились, что всамделишный чёрт не столь страшен, как о нем говорят.

Второй раз я ходил в «уголок России» один. Это было в конце зимы. Тогда я заверял доверенность на получение гонорара за публикацию в одном московском журнале. Теперь этот журнал хотел печатать меня снова, и сегодня я пришел сюда с точно такой же доверенностью. С первой доверенностью никаких затруднений не было:

- Кто следующий? - около меня крутанулся на маленьких ножках кругленький чиновник. - Вы? Я вас слушаю.

- Вот, оформить надо. - Давайте. Так, так, так. Вас надо не оформить, а заверить. Оформлены вы правильно. Пройдемте к столу.

Чиновник достал из кармана печатницу:

- Ху-ху! Чпок! Ширр!

Мне понравились и солидная печать, и красивая роспись, и сам чиновник.

- Писатель?
- Да вот, напечатали.
- Это ничего, ничего!
- Большое спасибо. До свидания.
- Э, нет, постойте: 20 марок!

Вспоминая об этом, я думал, что дело мое рутинное, приготовленная загодя 20-марочная купюра лежит под корочкой паспорта. Вот только очередь сегодня большая.

Прием должен был начаться в 9 часов. Но прошло четверть часа, а калитка не открывалась. Немцы начали волноваться, каждые полминуты они смотрели на часы и все больше хмурились. Стоявший первым молодой немец нажал на кнопку переговорного устройства и излил в него свое возмущение. Переговорник молчал.

- *Фердаммт!* - крикнул немец.

- Сам ты пидар! - ответил по-русски переговорник и снова отключился. Наконец, нас впустили в приемную. Скоро я увидел своего чиновника: он выкатился в приемную, промокая губы салфеткой. Он был такой же кругленький и крутливый мандаринчик, но как будто бы уже облупленный. Да и глаза у чиновника были мутные.

Но яичница с колбасой и поллитровая кружка кофе уже делали свое дело: Мандаринчик высморкался в салфетку, крутанулся вокруг себя и скатился по ступеням вниз, где у входа его дожидался какой-то хмурый тип с перебитым носом.

Очевидно, Хмурый был уверен, что его обслужат первым, и потому не прошел к столику для посетителей. На нем были кожаные рейтузы, кожаная безрукавка, кожаный галстук и кожаные перчатки без напальников. Все это было надето на голое тело. Забавный субъект. Такие рожи, как у Хмурого, я видел только у лагерных бригадиров. А здесь такие особи водятся на Сан-Паули, районе бардаков, воровских малин и коммун.

На вид Хмурому лет 45-50. Кто он: бардачный вышибала? Рокер? Кожаный *ротармеец?..*

Слово «кожаный» уводит мои мысли в другую сторону. Интересно, думаю я, как погоняли бы Хмурого в лагере? Однако Кожаным, отвечаю я себе.

«Кожаный» значит хреновый, ненастоящий. У воров есть выражение «кожаный нож», они постоянно грозятся зарезать им кого-нибудь. Старые зечки говорили «кожаный чулок», имея в виду продолговатый мешочек, набитый теплой кашей. Иногда «кожаными чулками» обзывают большевистских комиссаров.

Я сижу за низким столиком посередине дивана. На столике передо мной лежит моя доверенность и потрепанный советский паспорт. Сиденье дивана по обе стороны от меня пустует. Верх дивана довольно грязный, кроме того, диван предательски пукает, когда хочешь пошевелиться. А может, никто не садится рядом со мной, потому что на мне слишком уж потертые и большие шорты.

Что ж, я привык к тому, что мои шорты одних людей смешат, других смущают. Один мой знакомый обозвал их «мудиполамом» и сплюнул. Он не верил, что я купил эти шорты в Сингапуре. «В п...апуре!» - сердился он и говорил, что я вывез их из зоны, так как это, мол, не шорты, а раскрашенные краслаговским вань-гогой хозяйские трусы второго срока носки.

Но мне все равно, что думают люди о моих шортах. Прямо из консульства я иду купаться, меня ждут.

Правда, она сказала, что я должен зайти за ней домой. А это мне совсем не нравилось. Если бы мы договорились встретиться прямо в купальне, я бы постарался придти туда хотя бы на час раньше, чтобы успеть наплаваться до дрожи в пальцах и коленях. Иногда физическое изнеможение расслабляло мои нервы лучше наркотика.

Она не станет купаться и загорать, но снимет туфли и походит по траве. В северных широтах весной много ультрафиолета, избыток его теперь ей вреден. Мы едем на юг, на море. Из-за этого мы и встречаемся сегодня у нее. Будем листать проспекты, обзванивать здешние трансагентства и тамошние отели. Она будет считать на калькуляторе, я на бумаге, будем без конца переводить марки в песо и песо в марки. Может, мне и вовсе не придется сегодня купаться. А на днях, после фильма «Доктор Живаго» она снова сказала мне, что у меня русский паспорт. Когда я услышал это в первый раз, то попробовал уклониться от прямого разговора и сказал, что мой паспорт не русский, а советский, что и сам я не русский и что вообще... Но ее было трудно сбить с метки: «Какая

разница! - сказала она. - Уедешь в свой Зовьетланд и станешь недоступным для немецких законов».

- Но у меня есть и немецкий паспорт, - сказал я на этот раз. - Ты же знаешь, что у меня два паспорта.

- Вот-вот, у тебя два паспорта. А у меня один. Действительно, зачем честному человеку два паспорта?

В животе у Мандаринчика много кофе и много яичницы и он тарахтит как х...р в спичечной коробке. Хмурый отвечает коротким рыком, из которого я понимаю только слово *«рехнунг»*. Мандаринчик от этого слова подпрыгивает на месте, но затем он крутится и тарахтит с удвоенной силой. Все в приемной с интересом наблюдают за ним. В это время из внутреннего помещения консульства вышел в приемную мужчина. Он был молод и худощав, от него пахло утюгом и крепким лосьоном. Лицо у мужчины такое же малоинтеллигентное, как и у спецмолодчиков, но совсем не глупое. Я насторожился, увидев его: прямая спина, отмороженные глаза, подбородок-бульдозер... «Кошкоед противный!» - подумал я и прикрыл рукой текст доверенности. Но так сидеть было неловко, и я убрал ладонь и закрыл текст своим паспортом. Кошкоед держал в руках какие-то документы и направлялся, очевидно, к Мандаринчику. Шел он медленно, весь погруженный в свои бумаги, и, казалось, ничего не замечал вокруг себя. Но поравнявшись со столом, за которым к тому времени я был один, Кошкоед презрительно усмехнулся. Я смутился: конечно же, Кошкоед заметил, как я засуетился при его появлении. И тут из-за спины Мандаринчика выплыла рожа Хмурого. Кошкоед мгновенно развернуля и ретировался в ту же дверь, откуда вышел. Кажется, Хмурый был здесь известным человеком.

Но вот наконец Хмурый крепко выругался: «Шайссе!» - сказал он и ушел, сильно хлопнув дверью. Мандаринчик вытер пот с лица и занялся другим клиентом. Я терпеливо ждал своей очереди. Кроме Мандаринчика с клиентами работали еще два дипломата, и очередь продвигалась быстро. Заминка произошла, когда как раз подошла моя очередь: в приемную снова вышел Кошкоед, с теми же бумагами в руках и увел Мандаринчика в свою комнату.

Скуластый *аусзидлер** из Киргизии и разводящиеся супруги, чья очередь к Мандаринчику была за мной, были раздосадованы не меньше меня. Я попробовал обратиться к другому дипломату, но он ответил, что заверением доверенностей занимается Мандаринчик, я должен подождать его, он ушел ненадолго. И правда, Мандаринчик скоро вернулся в приемную. Он подошел к столику и, глядя не на меня, а на мой паспорт, спросил.

- *Вер ист дер нексте?*

- Я следующий. Нужно заверить доверенность. Вот, возьмите. Тут и 20 марок за пошлину.
- Деньги пока не давайте, я должен сначала посмотреть на вашу доверенность.

- Пожалуйста. Точно такая же доверенность, как и та, которую вы мне недавно заверили.

- Что?

- А вы посмотрите. Читайте, раз уж взяли в руки. - Прошу вас не грубить мне. Вашу доверенность я прочитал. Такую доверенность я не могу заверить.

- Но в прошлый раз...

- Говорю вам еще раз: такую доверенность я не могу заверить. Она не по форме составлена.

- Это почему не по форме? Ведь в прошлый раз...

- Возьмите ручку и перепишите правильно. - Позвольте же мне высказаться! В прошлый раз была точно такая же доверенность: на то же имя и номер паспорта, тот же журнал. Да здесь все сходится - каждая буква и знак препинания, только дата сегодняшняя. У меня компьютер.

- Поздравляю. Но все-таки перепишите. От руки. Я вам помогу. Надо было согласиться и переписать доверенность под его диктовку. Кому-то в консульстве понадобился образец моего рукописного текста. Ну так что ж? Надо было написать и

*** Переселенец (нем.) - Ред.**

спокойно подождать, пока Мандаринчик под предлогом того, что печать находится в бюро, сходит к ксероксу. Так поступают со многими, а паспорта ксерокопируют у всех без исключения. Кроме 20 марок, я ничего не терял. Но благоразумие оставило меня:

- Но почему вы в прошлый раз заверили точно такую же доверенность, а теперь не хотите?

Что называется, заклинило. Ничего, кроме этого, я не хотел знать и ни о чем ином не хотел говорить. Мандаринчику это было неприятно. Он, может, и вывернулся бы, но я не давал ему говорить, а сам растрещался как Троцкий. Вокруг нас собирались оставшиеся клиенты, из комнаты выглядывали коллеги Мандаринчика.

- Можно ваш паспорт? - Мандаринчик протянул руку. Я подал ему паспорт, Мандаринчик стал его листать. - О, так вы уже два года живете здесь без разрешения!

- Разрешения кого?

- Нашего, естественно. - Скажите это немцам. Предоставление вида на жительство и его длительность относится к компетенции немецких властей.

- Вот как! - Мандаринчик продолжал листать мой паспорт. - Я вижу, что вы часто ездите в третьи страны.

- Да. Для этого нужны только деньги, - ответил я с вызовом. - Ни в одной билетной кассе у меня еще не спрашивали, имею ли я разрешение на поездку от русского консульства. Мандаринчик внимательно посмотрел на меня. Глаза у него были все-таки умные. Впрочем, и дурак, посмотрев на мое красное лицо и подрагивавшие губы, догадался бы, что уже много не надо. И Мандаринчик решил дожать:

- Почему вы не встали на учет?

- Какой учет? Что вы говорите?

- Каждый советский гражданин по прибытии в страну въезда обязан встать на учет в ближайшем советском консульстве или посольстве.

- Вот и ставьте на ваш учет «каждого», а меня оставьте в покое.

- Вы не считате себя советским гражданином?

- Не хочу я быть на учете, понимаете? Не хочу.

- Вот вы как говорите! - сказал Мандаринчик оскорбленным голосом. - Но ведь так... - он поднял над головой мой паспорт и потряс им, - так вы можете потерять... - он снова потрям моим паспортом - Родину!

- Что?! - вскочил я на ноги. - Вы сказали «Родина»? - Я взял из рук Мандаринчика свой паспорт и тоже стал им трясти над головой: - Вы это называете Родиной? Это Родина? Так плевал я на вашу Родину!

Я выбежал из консульства как чумовой, комкая на ходу доверенность. Я ее выбросил в первый же мусорный бак, а не доходя до автобусной остановки, выбросил и свой паспорт - в канал. И паспорт с моей фотографией поплыл по каналу в Альстер, Альстер вынес его в Эльбу, Эльба - в Северное море, в нейтральные воды.

Позже выяснилось, что я зря хлопотал о доверенности: ожидаемая публикация была передвинута на конец года. Как говорится, курочка в гнезде, яичко в п...е, а у фраера масло на сковороде. О выброшенном паспорте я не жалел и не думал, пока снова не заговорили о террористах. К тому же, близилась иракская война. В это время какой-то идиот взял привычку звонить мне после полуночи. Причем звонок раздавался всегда именно тогда, когда я засыпал. Я брал телефонную трубку и называл себя, но никто ничего не говорил, было слышно только дыхание. Я клал трубку и снова ложился, но через полчаса меня опять будил звонок. В общем-то с телефонным террором я уже был знаком. Не раз случалось выслушивать пресный немецкий мат и смешные угрозы. А однажды был очень забавный звонок. Совсем юная девочка, по голосу - 10-12 лет, не назвавшись и не поздоровавшись, стала фикать меня во все части тела, перечисляя их так подробно, словно она отвечала урок анатомии. «Но за что?» - удивился я. «Ты турок, вонючий турок!» - пискнула девочка. «Ты ошиблась, я русский,» - ответил я. Глупый ответ. «А, ты русский! - обрадовалась девочка. - Грязное животное! Я тебя...» Все началось сначала, девочка хорошо знала анатомию.

Однако здесь была система, и уже на третий день я стал испытывать страх. С вечера

я плотно занавешивал окна, накидывал на входную дверь цепочку, чего раньше не делал никогда, и около полуночи ложился в постель и ждал звонка.

Разумнее было бы убирать на ночь громкость аппарата, но я уже не мог заснуть без звонка этого сумасшедшего. В том, что это был сумасшедший, я не сомневался. Да только сам я в то время был не в норме. Рассудок мне еще не изменял, но он уже тяготил меня: как надоевший оппонент и как свидетель моего полного краха.

Звонки через неделю прекратились. Эта первая ночь без звонка была бессонной. Я думал о том, что мой паспорт не доплыл до нейтральных вод, потому что кто-то его выловил в Альстере или в порту. »Моим паспортом завладел террорист, - догадался я. - Честный человек отдал бы паспорт в полицию и они уже сообщили бы о находке. Террорист был доволен, увидев на фотографии стриженого уголовника с лицом восточного типа: очень похож на него. Теперь он с моим паспортом пересекает границу, проникает в какое-то учреждение, входит в чей-то дом... Его сообщник звонит мне по ночам, чтобы знать, дома я или нет. Днем он ведет визуальное наблюдение. Пока идет операция, террористы должны точно знать, где в любой момент времени находится истинный владелец паспорта». Утром я пошел в полицию. Участок находился в двухстах метрах от моего дома.

- Несколько недель назад я выкинул в канал свой паспорт, - сказал я дежурному полицейскому. - Его мог кто-нибудь найти и воспользоваться им. Например, иракские террористы...

- Стоп! - остановил меня полицейский. - Ваш рот выговорил больше, чем могут переварить мои уши. Вы сказали, что потеряли свой паспорт, правильно я вас понял?

- Не потерял - выкинул. В канал выкинул.

- Позвольте спросить: вы немецкий гражданин?

- Я иностранец.

- Теперь мне все ясно, - сказал полицейский с облегчением. - Так вот: иностранец при утере своего *аусвайса...*

- Да нет же, ничего я не терял: я выкинул свой паспорт! - перебил я полицейского. Но полицейские не любят, когда их перебивают:

- Выслушайте меня до конца! Понятно?

- Да.

- Иностранец при утере своего *аусвайса* должен обратиться в ведомство по делам иностранцев. Это около главного вокзала.

- Я знаю. Но зачем мне обращаться туда?

- Затем, что вы там получили свой *аусвайс.*

- Вы имеет в виду этот *аусвайс?* - я показал полицейскому свой так называемый *«райзераусвайс»* - документ, выдаваемый лицам, получившим право на политическое убежище.

- Именно: я имею в виду этот аусвайс.

- Простите, но зачем мне идти в ведомство по делам иностранцев?

- О Боже, какой непонятливый человек! Слушайте меня, повторяю: иностранец при утере своего аусвайса должен обращаться не в полицию, а в ведомство по делам иностранцев. Поняли?

- Да, понял. Но я ведь еще не потерял аусвайс - вот он.

- Что?! Так какого черта вы морочите мне голову! Чего вы хотите?

- Я выкинул свой русский паспорт. Он мне не нужен, но я боюсь, что кто-нибудь...
- Стоп! Наконец-то я вас понял. Слушайте меня: если вы потеряли русский паспорт, то идите в русское консульство. Адрес вы найдете в любой телефонной книге. До свидания.

Через несколько дней я стоял в очереди перед зданием ведомства по делам иностранцев. Наверное, это одна из самых длинных очередей в мире, во всяком случае - одна из самых печальных.

Большинство иностранцев занимает очередь еще ночью - все равно они спят на вокзале. Позже шести утра приходить сюда нет смысла. Я пришел в 8 часов и, увидев очередь, испугался и хотел уходить. Но меня заметили знакомые русские. Они приехали

недавно из Алма-Аты, оба - жена и муж - были, кажется, художниками.

- Пристраивайтесь к нам, - предложили они мне. - Мы уже на километр продвинулись.

Супруги стали спрашивать: зачем мне, счастливцу-*азюлянту**, понадобилось стоять в очереди с «проклятьем заклейменными»? Я отшучивался, вспомнил, как в рабочем общежитии в Ташкенте будил нас на работу искалеченный на фронте старик-вахтер: «Вставай, проклятьем заклейменный!» - стучал он в каждую дверь своим костылем.

- А если серьезно? - спросил С. - Мы-то торчим здесь каждую неделю, потому что больше чем на неделю нам вид на жительство не продлевают. Но у тебя что за нужда?

- Хочу отказаться от статуса азюлянта, - сказал я.

- О! - сказала Г. - Никогда не думала, что в Гамбурге тоже есть отказники.

- Дорогая! - С. положил руку на плечо жены. - Так-так. Значит, ты пришел сдавать свой немецкий паспорт?

- Да.

- Тебя тяготит твой статус?

Я пожал плечами.

- Ему стыдно! - сказала Г. - О! О!

- Да, бывает стыдно, - согласился я.

- Дорогая, ну я прошу тебя! - С. снова притронулся к плечу жены. - Ты уже принял решение уезжать?

- Еще нет.

- Но ты думаешь об этом?

- Думаю. Но сейчас у меня нет советского паспорта.

- Как нет?

- Я его выкинул.

- Ну и дела! Куда выкинул?

- В канал, в районе нашего консульства.

- О! - сказала Г. - А нам говорили, что ты сумасшедший. Умница ты! Отведи нас на это место, мы тоже свои паспорта бросим. Мы с С. любим пускать кораблики из красной гербовой бумаги. Правда же, С.?

- Довольно, дорогая, довольно! - сказал С. жене и снова обратился ко мне: - Знаешь, я немного говорю по-английски. Давай скажем этим негритосам, чтобы они нашу очередь держали, а сами пойдем пить пиво. Посидим, поговорим. Пошли?

- Да-да, пойдем! У тебя такой вид измученный! - пригласила меня и Г.

Они очень хорошо ко мне относились, эти алма-атинцы. Мы были почти земляки: я сидел в их области три с половиной года.

- Терпеть не могу пиво, - сказал я.

Разговор с чиновником по азюлю был недолгим. Я изложил формальные причины своего желания выйти из азюля. Было неприятно говорить слова, которых не любишь и которым не доверяешь: перестройка, демократический процесс, родина... Будь чиновник русским, я бы ему просто сказал, что немецкое слово «азюль» по-нашему будет «убежище».

Из окна чиновничьего кабинета был виден хвост очереди. Там стояли те, кто не может вставать рано, кому никто не занимает очереди и кого оттесняли и оттесняли назад вновь подходившие энергичные и здоровые мужчины. Одинокие больные и старики, одинокие матери с младенцами на руках. Ровно в полдень прекращается прием, и «хвост» обречен быть отсеченным. Но завтра эти черные и белые мадонны будут снова здесь.

- Вы правы, - согласился с моими доводами чновник. - За последние пять лет в России произошли значительные перемены. Но должен сказать вам, что с процедурной точки зрения заявления о выходе из азюля не нуждаются в какой-либо мотивировке. Такое решение человек принимает на личном уровне, и мы не можем препятствовать его воле.

Мне стало неловко. «Перестройка, реформы, родина...» - передразнил я себя.

- Мой долг напомнить вам, - продолжал чиновник, - что немецкие законы не зависят от

*** Иностранец, имеющий статус беженца (от нем. Asyl - «убежище») - Ред.**

политических процессов в вашей стране. Вы получили право на азюль на основании немецких законов и будете им пользоваться столько, сколько будете жить в Германии. Чновник стал листать мой аусвайс, давая мне время подумать. Я молчал.

- Итак, вы хотите оформить выход из азюля?

- Да.

- Дайте мне ваш русский паспорт.

- Моего паспорта больше не существует.

- Как, неужели вас лишили советского гражданства?

- Нет, не лишили. Я выкинул свой паспорт.

- Вы хотели сказать, что вы его потеряли? Очень жаль. Есть у вас какое-нибудь другое удостоверение личности?

- Только свидетельство о рождении.

- Этого мало. Возникает серьезное затруднение технического характера: ваш аусвайс - ваше единственное удостоверение личности, поэтому я не могу его у вас забрать.

- Но я не возражаю. Пожалуйста, берите. - Вы хотите остаться совсем без документов?

- Ничего.

- Нет, в Германии это невозможно.

- Но я ведь имею право на выход из азюля?

- Несомненно. - Так как же быть?

- Купите билет и принесите его нам, скажем, за день до отправления самолета. И мы вам быстро оформим выход из азюля.

- Вы думаете, что мне удастся сесть в самолет без документов?

- Ну, мы это как-нибудь уладим. Если же вы не торопитесь уезжать, то идите в русское консульство и заявите о потере паспорта. Они вам выдадут новый.

Она работала в большом агентстве. Когда ее дежурство кончалось поздно, я приходил ее встречать. Однажды я принес с собой морковь, обыкновенную красную морковь с необрезанной ботвой. Она еще сидела за компьютером. Я подошел к ней, пряча морковь за спиной.

- Минутку! Я уже кончаю, - она поцеловала меня и снова села печатать. - Дай мне твою руку!

Так было всегда: когда у нее еще оставалось немного работы, она одной рукой держала мою ладонь у себя на щеке, а свободной рукой легко и быстро печатала. Наверняка, в этом была доля кокетства перед коллегами: в такой поздний час здесь оставалось 5-6 мужчин, они позевывали за мониторами, почесывались у телетайпов и забредали без нужды то в буфет, то в таулет.

- Что у тебя за спиной? - любопытствовала она, щекоча губами мою ладонь. - Шоколад? Цветы?..

Она закончила текст, и я протянул свой подарок.

- Что это?

- Морковь, - признался я.

- Да, я вижу, что это морковь, - рассмеялась она. - Но что это значит?

Правду говоря, я и сам не знал, что это может значить. Я взял из дома две морковки, одну съел по дороге, вторую оставил ей. Вот и все. Но я ответил, что, когда в Москве был голод, Маяковский носил своей любимой не цветы, а морковь.

- *Ах, so!* - воскликнула она, крайне польщенная, и с хрустом откусила кончик морковки.

- А кто он такой, Маяковский?

Она подала мне морковку. Я откусил от нее и отдал назад. Боже, как хрустела морковь на наших зубах, как мы смеялись!

Моя первая встреча с Кошкоедом произошла, видимо, в октябре. Шел мелкий холодный дождь, посетителей было совсем мало. Я снова увидел Мандаринчика, сказал ему, что я «по вопросу о возвращении домой». Мандаринчик позвал Кошкоеда. Тот завел меня в какую-

то козлодерку рядом с туалетами и потребовал, чтобы я написал объяснительную.

Загибая пальцы, Кошкоед перечислил вопросы, на которые я должен был ответить: почему уехал из СССР? кто организовал и оплатил мой выезд? чем занимался в Германии? на что жил? с кем жил? где жил? почему хочу вернуться в СССР?

Он достал из ящика стола лист бумаги и щелчком запустил его по столешнице в мою сторону:

- Как испишите, я выдам вам новый лист. Его отмороженные глаза рассматривали меня в упор, и в них, как на экране черно-белого монитора, читались его мысли: «Ну что, голубчик, говоришь в дерьмо вляпался? Отмываться пришел? Ладно, пиши пока, давай полную раскладку!»

«Пес троекуровский»! - подумал я, нервно сминая пальцами лист бумаги. Но спокойно, спокойно! Ничего чрезвычайного не произошло, таковы все молодые кошкоеды: наглые как полярные песцы, они везде чуют легкую поживу.

Комок бумаги в моем кулаке стал влажным от пота, гнев оставил меня. Я поискал глазами корзину, бросил туда скомканный лист чистой бумаги и вежливо распрощался.

Кошкоед не был дипломатом. Бог знает, кем он был. Мне он представился юристом-международником. Но право он знал на уровне лагерного кума. Я так ему и сказал. Из-за того сказал, что он морочил мне голову, говоря с важным видом о какой-то «пролонгации паспорта».

Кошкоед умничал перед немецкой журналисткой. Она пришла со мной, думая, что сможет мне помочь.

Дурацкого слова «пролонгация» я не понимал.

- Где вы его собираетесь пролонгировать? - спросил я Кошкоеда, имея в виду свой выброшенный в канал паспорт.

- Конечно, в Москве! - уверенно ответил Кошкоед.

Я был здорово озадачен. Мне казалось, что мой паспорт уплыл в Северное море, а он, оказывается, каким-то образом пролонгировал в Москву. Отсюда мы и пошли браниться. Ничто не могло вызвать в нас улыбки. Раз возникшее чувство взаимной неприязни стало монопольным и подавило остальные чувства, в том числе и чувство юмора.

Ни одна наша встреча не имела характера делового разговора. Казалось, что мы встречаемся только для того, чтобы сказать друг другу новые колкости, которые не пришли на ум во время предыдущей встречи.

Я зря портил себе кровь и нервы. Да и не только себе: ведь не Кошкоед ходил ко мне домой, а я к нему. Я требовал от него, чтобы он в течение одной недели выдал мне новый паспорт взамен не утерянного, а выброшенного старого паспорта. Слыша возражение, что это технически невозможно, я говорил Кошкоеду, чтобы он отправил меня диппочтой или вывез в своем багаже. И Кошкоед, естественно, с удовольствием строил мне козьи морды.

При всей нашей противоположности мы были из одной страны, где одним людям дают права их несчастья, а другим их дают к несчастью. Я тогда уже сильно подозревал, что если бы Кошкоед, узнав, что я пришел к нему с «вопросом о возвращении», сказал мне: «Да что вы, какой вопрос! Милости просим, езжайте ради Бога», то я бы, может, спохватился: «Простите, я ошибся, - сказал бы я, - мне совсем в другую сторону».

Чертов «уголок России», как лихо он напомнил мне, что волки ходят только против ветра.

Друзья были в курсе моих дел и старались помочь. Скоро они известили меня, что есть хорошие новости: я должен завтра же идти в консульство, там для меня кое-что приготовлено.

Я сразу же позвонил в консульство. Трубку взял дежурный дипломат. Я назвал себя и стал излагать суть своего дела.

- Можете не рассказывать. - прервал меня дежурный, - мы хорошо информированы об этом. Приходите к нам завтра в любое время от 9 до 12. У вас все?

_ Погодите. Мне хотелось бы знать, что же будет завтра?

- Завтра вы получите то, что вам нужно.

- Вы имеете в виду паспорт?

- Нет, не паспорт. - А что?

- Этого я сейчас не могу сказать - рабочий день в консульстве закончился, я не могу навести справки. Но вы получите нормальные въездные документы.

- Это верно?

- Да что вы в самом деле!

_ Простите. У меня было много трудностей с этим вопросом.

- Я знаю. Но теперь вам оформят въездные документы в обычном порядке.

- Значит, мой случай не исключительный?

- Да вовсе нет. Бывает, что наш человек теряет свои документы в день выезда. И ничего - уезжает домой в срок.

- Большое спасибо. До свидания.

- До свидания. На следующий день я с утра был в консульстве. Чиновник, ведущий регистрацию, выслушал меня и куда-то позвонил. В приемную вышел Кошкоед и увел меня в свою козлодерку.

- Этого не может быть! - заявил он мне, когда я рассказал о вчерашнем телефонном разговоре.

- Я не берусь доказывать это, - поднялся я, потеряв всякий интерес к дальнейшему разговору.

- Нет, так нельзя! - остановил меня Кошкоед. - Надо же разобраться. Возможно, вы говорите правду. Вы знаете фамилию этого дежурного дипломата?

- А разве у вас принято называть свою фамилию? Спросите меня, знаю ли я вашу фамилию.

- Ладно, скажите мне, в котором часу вы звонили, и я попробую вычислить этого неизвестного, который ввел вас в заблуждение. Я сказал время, и Кошкоед вышел из козлодерки, попросив меня подождать. Через пару минут он припер смуглого и щуплого болванчика с бегающими глазками. Кошкоед поставил болванчика на пороге и сел так, чтобы видеть, и меня и своего болванчика.

- Вчера вечером дежурили вы? - строго спросил он болванчика.

- Вчера вечером? - отозвался болванчик. - Вчера вечером дежурил я.

- Вы говорили по телефону с этим человеком?

- С этим? - глаза болванчика на секунду остановили на мне и шарахнулись в сторону. - С этим не говорил.

- Но он утверждает, что говорил с вами, и вы вроде бы сказали, что в консульстве ему выдадут какие-то документы. Имел место такой разговор?

- Такой разговор? Такой разговор не имел места.

- Хорошо, идите, - отпустил Кошкоед болванчика и с глубоким сожалением посмотрел на меня: - Ну вот видите!

Мои друзья продолжали действовать. Скоро у них были для меня точно такие же «хорошие новости». Я наотрез отказался звонить в консульство и идти туда. Но со мной говорила женщина, и она уломала меня: я обещал, что, после того как позвоню в консульство, я перезвоню ей, а утром мы поедем в консульство вместе. На мой звонок снова ответил какой-то дежурный дипломат. Он почти слово в слово повторил мне то же самое, что я уже слышал один раз: да, мы в курсе; да, мы все сделаем; да, можете приходить завтра.

Утром мы были вдвоем в консульстве, и там повторилось все то же: «Не может быть!» - сказал Кошкоед и поставил на пороге своей козлодерки нового болванчика.

Однако сопровождавшая меня женщина не стушевалась. Она сказала Кошкоеду, что его болванчики, похоже, вовсе не дипломаты, а слесаря и дворники. Потом она назвала фамилию русского вице-консула:

- Это он обещал все устроить, - сказала она. - С вашим вице-консулом говорил г-н М.

Кошкоед досадливо поморщился:

- Ну, если вице-консул обещал... - развел он руками. - Впрочем, я сейчас это узнаю!

Он стремительно шагнул к двери. Бедная женщина качнулась на своем стуле и схватила

меня за руку.

- Нет, не больше! - умоляющим голосом остановила она Кошкоеда. - Пожайлуста, сидите снова!

Признаться, я и сам подумал, что сейчас Кошкоед притащит за шиворот вице-консула...

Самое непрятное для меня было в том, что Кошкоед с упорством следователя выпытывал у меня мотивы моего желания вернуться домой. Он все еще не терял надежды откопать компрометирующие меня обстоятельства.

«У вас все нормально, и вы хотите вернуться домой? Странно, очень странно!» - такова была извращенная логика Кошкоеда.

В свою очередь, я находил странным, чтобы человек возвращался домой лишь после того, как подыщет для этого подходящий мотив. Причем, по логике Кошкоеда, мотив этот должен был быть непременно криминальным.

Во время последней нашей встречи Кошкоед проявил склонность к компромиссу: он предложил мне получить экспресс-визу на основании немецкого паспорта. Это меня заинтересовало.

- Каким образом? Объясните, пожалуйста, - попросил я.

- Так называемая деловая поездка. Вы понимете?

- В смысле командировка?

- Да, пожалуй. Вас «командирует» какая-нибудь немецкая фирма. Или же вас приглашают наши: учреждение, творческий союз, фирма... - Все равно, но только не частное приглашение.

- А что скорее?

- Лучше по ходатайству с немецкой стороны - это ближе. У вас есть друзья, пусть они вам организуют поездку.

- В какой срок я получу визу?

- Как правило, немцам мы оформляем визы за двое суток.

- Значит, послезавтра я смогу уехать?

- Ну что вы! Ваш случай особый, потребуется неделя.

- У меня остается еще одно сомнение. Я живу в Челябинской области. Насколько я знаю, город и область закрыты для иностранцев. Не будет ли затруднений при получении визы с немецким паспортом.

- Зачем вам виза для Челябинска? Ведь прямых рейсов отсюда в Челябинск все равно нет, вам так или иначе придется делать пересадку. Сделайте пересадку в Киеве, Ленинграде, Москве... Неужели вы не сориетируетесь на месте?

- Понимаю. - Я видел, что Кошкоед хочет отделаться от меня. Какое ему дело до того, если я, не имея советских документов, угорю там с немецким паспортом? Правда, меня самого это тоже нисколько не волновало. Главное, попасть туда.

- У меня последний вопрос. Мне придется заполнять бланки, где есть графа «гражданство». Что мне писать: «гражданин СССР?»?

- Вы не получили немецкое гражданство?

- Нет.

- Тогда вам нужно писать: «лицо без гражданства».

- Я должен писать, что я «лицо без гражданства»? Ну нет!

- Но это для вас единственный путь попасть домой.

- Неправда, не единственный.

- Что ж, желаю вам счастливого пути.

Настала последняя неделя октября. Я распорол по швам свою багажную сумку, сделал из больших лоскутов выкройку и стал шить рюкзак. Кропотливая и мирная работа, успокаивающая нервы, не мешающая думать и мечтать. Так было и в лагере: если загодя знаешь о дне этапа, стираешь и штопаешь одежду, шьешь новый этапный мешочек. Ты

беспокоен, но по-хорошему беспокоен: в предчувствии дороги и добрых перемен ты снова полон надежд. Ведь хуже все равно быть не может.

Я предполагал прямо из Гамбурга ехать в Берлин, получить там польскую визу и в тот же день ехать дальше на восток. Но мои друзья из Франкфурта хотели проститься со мной. Как мы и договаривались, в день отъезда во Франкфурт ко мне пришел И., мой добрый и вечно грустный друг. Он давно уже жил в Гамбурге, я часто бывал у него, любил его детей и был, наверное, самым благодарным ценителем кулинарного таланта его жены. Кроме семьи И., в Гамбурге была еще одна такая семья, куда я мог приходить в любое время без телефонного звонка и где всегда были рады пожалеть меня и покормить.

Приятель помог мне уложить вещи в рюкзак, затем мы долго ломали голову над тем, как приторочить к нему спальный мешок. Ничего из этого не вышло и пришлось спальный мешок положить в джинсовую сумку, которую можно было вешать спереди на шею.

И. решительно забраковал мой рюкзак: это не рюкзак, а бродяжья котомка, сказал он, а главное, он белого цвета - хорошая мишень для ночного стрелка. Действительно, уложенный рюкзак оказался чрезвычайно неудобным для ношения, но не хотелось признаваться в этом: слишком много труда и времени отдал я своему рюкзаку и не мог с легким сердцем бросить его и идти покупать настоящий рюкзак, как советовал мне И.

До моего поезда оставалось еще достаточно времени, и мы пошли перекусить к туркам. Дверь я не запер, так как ключи от квартиры все равно нужно было сдавать. По поводу своей квартиры я испытывал определенное беспокойство. Договор с домовладельцем я расторг и предупредил его, что с первого ноября он может вселить в мою кваритру нового жильца. С квартплатой тоже было все в порядке: уплачено по октябрь включительно, а сегодня было 30 октября. Но я все-таки подозревал, что ко мне будут претензии, поэтому хотел уехать незаметно. Правда, о точном дне моего отъезда знала соседка: накануне я был у нее в гостях и проговорился. А она работала в домоуправлении и, как потом выяснилось, сдала меня. Мы поели и возвращались назад за моими вещами, когда к нам прямо на улице подлетела чрезвычайно взволнованная женщина. Оказывается, она была домоуправ или что-то в этом роде. Четверть часа назад ей сказали, что жилец из такой-то квартиры сбегает. Вот она и всполошилась.

Мы пошли за ней в бюро. И. объяснялся за меня - он лучше знал немецкий. Выслушав нас, женщина позвонила в фирму домовладельца, откуда она, видимо, получила конкретные указания.

- По договору, вы обязаны предупредить о съезде с квартиры за три месяца, - заявила она мне. - Кроме того, вы обязаны отремонтировать квартиру.

И. грустно посмотрел на меня: «Увы, она права!» - говорил его взгляд. Я понял, что мне надо разговаривать самому.

- Очень сожалею, - сказал я, - но я не могу ждать три месяца, мой поезд отходит через час.

Женщина в ответ что-то быстро затараторила. Я не понял ни одного слова, но прекрасно понял угрожающую интонацию.

- Что она говорит? - спросил я И.

- Она может вызвать полицию.

- Сто чертей рогатых ей в задницу! Переведи ей это! - потребовал я. И. в ответ грустно улыбнулся. Тогда я, запинаясь и коверкая слова, сказал женщине, что если она вызовет полицию, то я сделаю заявление, что власти Гамбурга пытаются воспрепятствовать моему возвращению домой. Женщина посмотрела на меня с опаской, как на сумасшедшего, и снова набрала номер фирмы. На этот раз, чтобы все время видеть меня, она не прижимала трубку к своему уху плотно, и я мог хорошо слышать голос мужчины, с которым разговаривала домоуправша. Вероятно, этот человек был ее мужем, и он предостерегал жену от скандала.

- Он известный человек? - спросила женщина, глядя на меня во все глаза.

- Очень известный! - ответил голос из трубки.

- Хорошо, г-н А., уезжайте! - сказала мне домоуправша со слезами в голосе. - Мне придется ремонтировать вашу квартиру за собственный счет.

Но я ждал этого, и ответ у меня был готов. Я сказал, что ремонт можно сделать за счет денежного залога, который внес за меня сенат города при заключении договора на квартиру. Услышав это, женщина оживилась и стала листать мой договор.

- Да, вы вносили залог - 990 марок. Но этих денег может не хватить на ремонт.

Я знал, что в таких случаях словом «ремонт» называют простую побелку, но торговаться не было времени и охоты.

- Я оставлю вам свою мебель, - предложил я. - Кроме мебели, в квартире остается еще много чего. Берите все, мне ничего не нужно.

- Нет, напишите расписку только на мебель. - Домоуправша поспешно подала мне бумагу и ручку. Я написал, что передаю свою мебель в собственность домовладельца, и расписался. Для верности домоуправша хотела иметь адрес моих родственников в СССР. Я безропотно выполнил и это ее требование.

- А в Гамбурге у вас есть близки люди?

Я молча написал еще один адрес. Наконец дошла очередь и до И.:

- Вы друг г-на А., не так ли? Напишите на всякий случай ваш адрес!

Мы пошли за рюкзаком. На моей кухне - все еще моей, черт побери! - стояла соседка, нагруженная в полные руки моей кухонной утварью.

- Ах, это вы, г-н А! Я видела, как вы ушли с вашим другом, и подумала, что вы уехали совсем. Вот я и зашла посмотреть: что убрать, что вынести...

- Я еще не уехал, можете не торопиться.

- Ах, как мне неудобно! Знаете, я унесла вашу раскладную кровать из кладовки. И вот нашла под печкой большую сковородку. Совсем новая, прелесть! Вы никогда ею не пользовались?

- Нет, г-жа К., ни разу не пользовался.

- Вы просто не знали, что она у вас есть. Ах, эти мужчины! Теперь она вам и вовсе ни к чему, и этот шурум-бурум, я тоже думаю, правда?

- Берите, берите, будьте так добры!

- Ах, как мне жаль, что вы уезжаете! Вы пошлете мне открытку, когда перейдете границу? Вчера вы мне это обещали!

- Простите, г-жа К., но мы с другом хотели бы присесть на минутку перед дорогой. Таков наш обычай.

- О, я прекрасно знаю русские обычаи! Я ухожу, ухожу!..

Из Франкфурта в Берлин я выехал вечером 31 октября. Никогда до этого я не рисковал ехать в Берлин поездом. ГДР уже не существовала, но ее железная дорога все еще работала в рабоче-крестьянском режиме: проходы в вагонах скользкие от грязи и объедков, на всем мазут и угольная сажа, на одно место продают в среднем три билета, и дерущихся за него никто не разнимает, похожие на прапорщиков конвойной службы проводники проходят мимо, делая морды кирпичом. Тяжелый польский мат и цыганское гыргырканье, дезертиры, мешочники, шпана... В одном конце вагона игривый женский визг, в другом - истошные вопли потерпевших... Политические разборки, пьяный мордобой... Впечатление, что ты не в европейском поезде, а в «пятьсот веселом» Самара-Ташкент. Я провел всю ночь в переходе между вагонами. Нас там сидело и лежало четверо, люди ходили прямо по нашим телам. Рано утром 1 ноября я был в Берлине. О том, что 1 ноября католический праздник, я знал, но календарь говорил, что в северных землях и Берлине этот день будний. То же самое говорили мне и мои франкфуртские друзья. Мы как-то не подумали о том, что поляки - католики. На всякий случай я все-таки позвонил в миссию Войска Польского в Западном Берлине - именно там мне нужно было получать визу. Я не сказал еще и слова, а приятный женский голос уже поприветствовал меня по-польски и по-немецки и сообщил, что миссия начнет работу в понедельник 5 ноября. Я спросил: почему они не хотят работать завтра, в пятницу? Увы, со мной говорил автоответчик, он не дослушал меня и запустил свою кассету по второму кругу. Лил дождь и было довольно холодно. Я обзвонил всех своих берлинских знакомых, но безуспешно: то ли было еще слишком рано, то ли никого из них не было в городе. Информационное табло о наличии свободных мест в гостиницах показывало, что

свободные номера есть только в дорогих отелях высшего класса. Делать нечего, надо выбирать наиболее дешевый из самых дорогих. У гостиничного табло было три или четыре телефона, но желающих получить гостиничный номер было, как минимум, в пять раз больше. И как только на табло зажигалась новая информация, телефоны буквально штурмовали и все, естественно, звонили по одному и тому же номеру. Те, кто был поумнее и побогаче, не звонили, прыгали сразу в такси. Примерно через час мне удалось дозвониться в один отель, но мне прдложили двухместный номер за безумную цену. Бросив эту затею, я отошел и стал изучать расписание движения пассажирских поездов. Расписание говорило, что с главного вокзала Восточного Берлина несколько раз в день ходит поезд во Франкфурт-на-Одере.

«Франкфурт-на-Одере, Франкфурт-на-Одере...» Оказывается, я еще помнил кое-что из школьной географии: «Через Франкфурт-на-Одере ГДР ведет торговлю с социалистическоими странами...»

Итак, это немецкий город на реке Одер. С 1945 года правый берег Одера польский. Что еще? Да, самое интересное: «фурт» в переводе с древнегерманского или какого-то другого языва значит «брод».

В ту минуту все и решилось: я еду во Франкфурт-на-Одере и ночью уйду в Польшу по броду короля Франка.

Это был день сплошного невезения. В то время неберлинцу было непросто разобраться в железнодорожных расписаниях. Слились обе части Берлина, но на западноберлинском вокзале «Цоогартен» все еще висели четыре разных расписания: западноберлинское, восточноберлинское пригородное, воточногерманское и международное. Все эти расписания каким-то образом стыковались и комбинировались. И вот, чтобы проехать от «Цоогартен» до главного вокзала Восточного Берлина, надо было держать в голове все эти расписания и одновременно оперировать ими.

Я потратил добрых два часа, пока наконец доехал до восточноберлинского вокзала. И как же мне было досадно, когда о том поезде, с которого я сошел минуту назад, объявили: «Поезд такой-то, следующий во Франкфурт-на-Одере, отправляется»!

До следующего поезда оставалось много времени. Я захотел посмотреть на Восточный Берлин и вышел в город. Скоро я потерял все ориентиры и заблудился: улицы, дома, площади и даже памятники - все казалось мне одинаковым. Прохожие были неприветливы и расспрашивать их было напрасным делом. Определив, что перед ними иностранец, они спокойно поворачивлись спиной и уходили. Пришлось тормозить такси. Оказыватся, я был от вокзала всего лишь в минуте езды, но водитель посмотрел на свой недействовавший таксометр и сказал, что я должен ему 16 марок. Я дал две десятки и получил сдачу австрийскими шиллингами, которые по размеру и цвету похожи на немецкие одномарковые монеты. Да и на самом вокзале, куда бы я ни заходил и что бы ни покупал, буквально все - и бармены, и продавцы, и официанты старались подсунуть мне хотя бы парочку не имевших больше хождение гэдээровских монет.

Я часто слышал русскую речь, оглядывался и видел расфуфыренных толстых дам, карауливших горы своего багажа. Это были жены наших крупосеров*, надутые и недовольные всем на свете, а особенно - Горбачевым и немцами.

На одной скамейке сидели два коротковолосых парня в хороших джинсовых костюмах; костюмы были совершенно одинаковые. Кроме того, парни разговаривали между собой по-русски. Из интереса я подсел к ним. По их словам выходило, что они дембеля. Но парням в одинаковых джинсовых костюмах было явно лет по 30. Я подумал, что они переодетые офицеры, отлавливающие дезертиров из своей части.

От нечего делать я болтался по вокзалу и попался болгарам. Они большой группой ехали на заработки в Бельгию. Услышав, что я говорю по-русски, болгары радостно оживились и взяли меня в кольцо. Почему-то они были убеждены, что все болгары прекрасно говорят по-русски, и мне пришлось делать вид, что так оно и есть на самом деле, хотя я, признаться, ни черта не понимал. В конце концов я догадался, что мои болгарские друзья

*** Крупосерами в армии называют гарнизонных крыс, в лагере - придурков. -Авт.**

умирают от жажды. Я купил им две бутылки дешевого шнапса, но оставаться с ними не пожелал: я видел, как совсем недавно эти болгары торговали у румынских цыган кожаные куртки, и некоторые уже форсили в них.

На первом этаже вокзала я обнаружил зал ожидания. Из чистого любопытства я решил зайти туда - в западных вокзалах ничего подобного я не видел, там люди приезжают на вокзал к отправлению поезда. У входа ко мне пристал пьяный немец: довольно молодой, дородный, с холеным лицом, говорил связно и ладно, но пьян был в стельку. Послушав его, я понял, что это бывший партийный функционер среднего ранга.

- У меня теперь нет работы, но я не пропаду, потому что у меня есть голова и руки. А что будет с рабочими и крестьянами? - допытывался он у меня. - Их что ждет?

- Надо им тоже приделать головы и руки, - отстранил я его от входа. Зал ожидания был небольшой. На одной его половине расположились на полу цыгане. Молодые матери искали в головах своих детей, пожилые женщины сидели кружком и о чем-то говорили. Мужчин не было совсем, я только заметил, как пришли с большими мешками два парня: они передали свои мешки цыганкам, взяли другие и тут же ушли.

На второй половине зала стояли лавки. Там собрались одни бездомные, большей частью азиаты и славяне. Вид их и нравы были ужасны. На моих глазах произошла драка: делили еду и бутылку вина. Я спустился в буфет и принес сигареты, вино и большой сверток еды. Поставил все это перед ними. Бродяги разом замолчали, их лица и устремленные на меня взгляды были откровенно враждебными. Я смутился и быстро ушел.

Объявили посадку на мой поезд. Я побежал по тоннелю, ища выход на нужную платформу. Но тоннель был плохо освещен, указатели платформ часто отсутствовали вовсе, а если были, я не мог их разглядеть. Я выскочил на одну платформу: не то. Перебежал на другую: опять вроде не моя. На третий раз я выбежал к поезду, готовому вот-вот тронуться. «Шнель!» - крикнул мне проводник. Я запрыгнул на площадку вагона, поезд тронулся. А через полчаса я узнал, что еду в неверном направлении.

Пока я вернулся в Берлин, а оттуда приехал во Франкфурт, настал вечер. На самом деле нужно было бы воспользоваться остатком дневного света и сразу спуститься к реке, чтобы осмотреться и прикинуть предварительный план. Но я чувствовал сильную усталость и думал только о горячей ванне и сухой постели. В справочной мне сказали, что ближайшая гостиница находится во дворе с задней стороны вокзала. Там меня встретила пожилая женщина в колпаке с красным крестом. Ночлег бесплатный, сказала сестра, но у них нет душа и сушить одежду тоже негде. Из двери несло дустом. «Мы дезинфицируем одежду, чтобы не занесли насекомых», - объяснила сестра.

Я пошел на стоянку такси.

- В гостиницу, пожалуйста, - сказал я водителю.

- В какую гостиницу?

- В хорошую.

- Значит, в отель «Франкфурт».

Большой, но страшно неуютный и пропахший казармой отель «Франкфурт» был заселен советскими офицерами, коммерсантами в мятых костюмах, которые спускались на завтрак небритыми и вместо кофе заказывали мутный шнапс, и девицами романтического вида. Кроме того, мне показалось, что вся эта публика нашпигована агентами различных спецслужб. Оставаться здесь мне не хотелось, и после завтрака я уехал в Берлин.

С вокзала я еще раз звонил своим знакомым, но их телефоны не отвечали. Положение с гостиницами в Западном Берлине не улучшилось. Возможно, в эти дни здесь проводилась какая-нибудь международная конференция. Я подумал, что в восточной части Берлина все гостиницы наверняка пустуют. Но подумал еще раз и отверг эту идею.

Вечером должен был быть варшавский поезд. Недолго думая я купил билет до первой польской станции, то есть до Познани. «Почему бы нет? - подумал я. - Говорят, что раз в год и метла стреляет, и, может быть, сегодня как раз такой день».

Я не спеша пообедал в вокзальном ресторане. После обеда официант принес мне в винном графинчике крутой кипяток, и я заварил змейский чифир. Я мечтал о том, что если мне удастся сегодня доехать до Познани, то я переночую у моего хорошего знакомого -

поэта Рышарда К. И вообще у меня масса польских адресов и телефонов, которыми снабдила меня в Гамбурге моя подруга Э. Но, наверное, лучше нигде не задерживаться, а ехать прямо к литовской границе...

Я сидел за столом уже полный час, но до прибытия поезда оставалось все равно еще целых два. Я заказал мороженое. Неожиданно пришла остроумная идея сдать билет и ехать зайцем. Конечно, будет неприятно, когда меня уличат, но разве не может статься, что проводники и полицейские увлекутся травлей зайца в международном вагоне и забудут о том, что у меня нет визы?

Расплатившись за обед, я прошел к билетным кассам. Но вид седоусого кассира с суровым взглядом меня смутил: я подумал о том, что меня могут просто не посадить в поезд, ведь бывает, что билеты проверяют при посадке. Я положил свой билет далеко в рюкзак, решив не вытаскивать его оттуда без крайней нужды. Пришел варшавский поезд. Посадка проходила, как и в немецкие поезда, без билетного контроля. Я вошел в первое от входа купе, где уже находились три поляка. Они освободили мне место у окна. Старший из поляков говорил по-немецки. Я ввел его в курс дела, то есть сказал, что хочу проехать в Польшу без визы. Поляк перевел это своим спутникам, те равнодушно пожали плечами. Поляки что-то горячо обсуждали, громче и живее других говорил самый молодой - тот, что сидел напротив меня. Мне понравилось, как он произносил слово «курва», это напомнило мне одного героя из «Прощания с Матерой». Парень, видимо, выражал этим словом любое из своих чувств и повторял его поминутно. Изредка я обращался с каким-нибудь вопросом к знавшему немецкий поляку. Несколько раз он ответил мне по-немецки, но затем полностью перешел на польский. Я это учел и стал говорить по-русски. Оказалось, что при непосредственном общении мы могли понимать друг друга, но, когда поляки говорили между собой, я ничего, кроме слова «курва», не понимал. Немецкий паспортный контроль начался сразу же после отправления поезда. Вместе с полицейскими ходила проводница, проверявшая билеты. Польские паспорта полицейский проверял дотошно, делая множество замечаний. Поляки вяло оправдывались. «Раньше надо было ловить, начальник!» - было написано на их лицах. Мой паспорт полицейский долго не задержал взглянул на фотографию и вернул. По-видимому, немецкий герб на корочке моего паспорта подействовал и на проводницу: она удовлетворилась тем, что проверила билеты у поляков, меня же ни о чем не спросила. После немцев должны были ходить польские таможенники. Я был все время настороже и услышал первым, как в противоположном конце вагона началось какое-то движение. - Таможенники? - спросил я.

- Да, - подтвердил поляк, говоривший по-немецки. - Сейчас будут снова проверять паспорта, - прибавил он с предупредительной интонацией в голосе. Сидевший напротив меня молодой поляк приподнял голову на манер прислушивающейся лошади.

- Курва! - Он наклонился к полу и расстегнул замок на своей сумке. Когда он снова выпрямился, я обомлел: в руке у парня был огромный револьвер, и его страшное дуло, в которое свободно закатилась бы десятипфеннинговая монета, было нацелено на мой лоб. Я медленно перевел глаза на двух других поляков. Они растерянно улыбались, а лица у обоих заметно побледнели.

- Курва! курва! курва!.. - Парень вытаскивал пальцами патроны из коробочки и загонял их в барабан. Дуло револьвера было опущено вниз.

Я так и не понял, был ли это настоящий револьвер или «пугач», игрушка для взрослых. Во всяком случае парень не имел агрессивных намерений: он готовил свой револьвер и документы к нему для таможенного досмотра. С приближениям польских таможенников я испытывал все большее беспокойство. «Не вылезти ли мне на крышу вагона?» - думал я и пробовал, насколько опускается оконное стекло. «Не спрятаться ли мне под лавку?» - спрашивал я, и поляки с готовностью убирали в сторону свои сумки и чемоданы.

Вполне возможно, что при других обстоятельствах я бы что-нибудь такое предпринял. Но было стыдно перед поляками, мне и так уже казалось, что они весело перемигиваются за моей спиной: «Смотри, как русский икру мечет!»

Так ни на что и не решившись, я обратился за помощью к владеющему немецким поляку:

я сказал ему, что готов заплатить польскому полицейскому 200 марок, если он мне позволит проехать границу. «Я попробую,» - ответил поляк по-немецки и вышел из купе.

Полицейский действительно что-то пытался сделать: он дал мне визовые бланки, и когда я их заполнил, унес их куда-то вмете с моим паспортом. Его долго не было, и я уже надеялся на успех. Но, когда поезд остановился во Франкфурте, полицейский принес мой паспорт и сказал, что вынужден высадить меня.

Полицейский провожал меня по пограничному спецпроходу до тоннеля к франкфуртскому вокзалу. Я шел впереди, а он вздыхал за моей спиной, как сытая корова, и в чем-то упрекал меня: мол, такие дела так не делаются, хотя воообще-то делаются, но с умными людьми...

- По-вашему, умный человек спрятался бы под лавку, да? - спросил я, повернувшись к нему.

- Да лучше уж под лавку, чем посредника посылать. Но ты иди, иди! Здесь нельза стоять.

- А куда бы я задницу свою дел, интересно?

- Э! Я бы поговорил с этой задницей после немецкой границы. И все-таки полицейский выцепил у меня пачку «Кэмела». Я попрощался с ним у пропускника и пошел в город.

Время было близко к полуночи, шел мелкий дождь. Я не хотел спускаться к Одеру в черте города, так как опасался, что берег здесь охраняется. Дойдя до крайней городской улицы, я пошел по ней на юг против течения реки. До берега было около двух километров, но электрическое освещение позволяло мне все время видеть блеск воды. Казалось, что улице не будет конца. Постепенно промежутки между домами на левой стороне улицы становились все больше, а потом там не стало никаких строений. Дальше улица имела только правую сторону. До самой реки простирался пустырь, часть его была занята огродами и садами. Я видел какие-то мелкие постройки - то ли дачные домики, то ли сарайчики для птицы. Оттуда доносились до меня людские голоса и собачий брех. Я часто видел ведущие к реке натоптанные тропинки и автомобильные колеи, несколько раз мне встретились поднимавшиеся от реки мужчины в плащах - возможно, это были рыбаки. Был соблазн спуститься к реке именно здесь: я подозревал, что на этом участке берега могут быть лодочные причалы. Но это была пятничная ночь, по улице все время ходили люди, часто проезжали автомобили и мотоциклы, слышалась громкая музыка.

Наконец я прошел последнее городское строение. Дальше дорога постепенно сходила к реке и вела, вероятно, к товарной станции: впереди слышались свистки локомотивов и лязг сцепляемых вагонов. Лучше было выйти к Одеру за станцией, и я свернул вправо на первую проселочную дорогу. Дорога, которую я выбрал, проходила под железнодорожными путями, сразу же за ними были пограничные заграждения: колючая проволока, нити сигнализации, контрольно-следовые полосы... Вдоль и поперек были накопаны глубокие рвы, по дну которых текла вода. Но это, скорее всего, были водоотводные канавы, не имевшие отношения к пограничным заграждениям.

Дорога проходила рядом с запреткой. С колотящимся сердцем я шел, не останавливаясь, мимо столбов с угрожающими надписями. Послышался треск мотоцикла, и как раз в просвет между облаками вывалилась яркая луна. Я кубарем скатился в ров.

Насчет мотоцикла я ошибся - он был далеко, где-то на городской окраине. Но при лунном свете немецкая запретка приобретала совершенно жуткий вид. Я снова спустился в ров, поужинал у ручья, сменил носки, перекурил. К этому времени луну снова закрыли облака. Я вошел в запретку, раздвинув нити колючей проволоки.

Я находился внутри ограждения, закрывавшего подступы к железнодорожному мосту. Только теперь я обратил внимание, что запретка не освещена, и вообще все здесь имело заброшенный вид: покосились столбы, выбиты стекла сторожевых будок, проросла трава на контрольно-следовых полосах.

Еще год назад это была смертельно опасная и непереходимая преграда, наверняка здесь не раз стреляли в людей. Теперь это никому не нужное наследие ГДР. Я потянул на себя высокие сварные ворота, загораживавшие вход в какой-то коридор между двумя рядами колючей проволоки: ворота со страшным скрипом повалились на меня, так что я едва

ушел от удара.

Я подумал, что идти к железнодорожному мосту не имеет смысла: вероятно, там все-таки должна быть охрана. Я выбрался из запретки и пошел по дороге дальше.

А дальше был лес. Дорога стала разветвляться через каждые 200-300 метров, и в конце концов совсем пропала. На беду, небо окончательно заволокло тучами, и я не мог видеть далее пяти шагов.

Тут не было слышно даже железной дороги: сырой лес и частый дождь заглушали все звуки. Лес был густой и высокий, но молодой, не попадалось ни одного такого дерева, которое могло бы выдержать мой вес, если бы я полез на него.

Уже давно я шагал наугад. Несколько раз мне казалось, что я выхожу из леса, но каждый раз оказывалось, что я пересекаю очередную поляну. Но вот посередине одной такой поляны я увидел старую березу. Я прислонил рюкзак к ее стволу и встал на него, но все равно до первого надежного сука я не дотягивался более чем на метр. Я скинул куртку и стал карабкаться по стволу.

Неожиданно выглянула луна, и я увидел на краю поляны двух косуль. Приподняв мордочки, они наблюдали, как я стараюсь дотянуться до первых сучьев березы, ища ногами опору в трещинах ее коры. В следующую секунду косули исчезли в лесу, скрылась и луна. Но на душе у меня осталось хорошее чувство, которое я истолковал как предвестие удачи.

С вершины березы я увидел, что ушел от железнодорожного моста не так уж далеко. Скорее всего, я ходил по кругу. Южнее я видел другой мост. По парным точкам света, двигавшегося по нему, можно было понять, что это автомобильный мост. Самой реки я не видел, но по расположению двух мостов угадывал ее русло. По моим расчетам выходило, что если идти к реке напрямик, то на это потребуется 30 минут скорой ходьбы.

Но пройти к реке прямо мне не удалось: чем ниже я спускался, тем сильнее хлюпало под ногами. Очевидно, впереди было болото. И я вернулся к тому месту, где начиналось ограждение железнодорожного моста, прошел все сооружения запретной зоны и вышел к реке, минуя сам мост.

Одер вспух от дождей. Кроме того, берег был сильно изуродован землеройными машинами. Идти было трудно, приходилось то и дело снимать обувь и переходить вброд наполненные водой рытвины. Большие котлованы и протоки я обходил.

Первый пробный промер Одера я сделал вблизи автомобильного моста. Там была большая отмель, мне удалось пройти по ней около десяти метров. Но дальше дно резко понижалось, не было похоже, что здесь может быть брод.

Я пошел по берегу назад в сторону железнодорожного моста. Время от времени я снимал обувь и заходил в реку. Везде было глубоко, а дальше чем по пояс я не рисковал заходить, так как течение было сильным.

Вода была холодная, я быстро замерз. Мокрые джинсы противно прилипали к ногам и лезли в промежность. Но самое скверное было в том, что они впитывали в себя неимоверно большое количество воды и становились чересчур тяжелыми. Один раз я попытался их отжать, но оказалось, что такие узкие джинсы, как у меня, в мокром состоянии можно снять с себя только вместе с ногами. Когда у меня начинали стучать зубы, я отпивал из термоса пару глотков горячего чифира и выкуривал сигарету.

Под железнодорожным мостом течение было еще сильнее, но дно проглядывалось на большом расстоянии от берега. Осторожно ощупывая дно босыми ногами, я сумел добраться до первого от берега мостового быка. Здесь был маленький островок. Я надел на замерзшие ноги сухие шерстяные носки и немного передохнул. Дальше было гораздо глубже, а течение было таким мощным, что устоять на одной ноге было просто невозможно. Поэтому я волочил ноги, не отрывая их от дна. Камни, которые я шевелил ногами, подхватывало течение, и они буквально уплывали из-под моих ног.

Дно неуклонно понижалось. Сумка со спальным мешком, висевшая на груди, уже плавала на уровне моего подбородка, рюкзак за спиной полностью погрузился в воду, и если полиэтиленовый мешок, которым я изнутри выложил свой рюкзак, дал течь, то рюкзак должен был утопить меня. Но я все еще упорствовал: сильное течение дразнило меня

надеждой, что здесь может быть нанос песка и камней, по которому я смогу пройти.

И вот я наступил на неверный камень и ухнул в яму. Благодаря тяжелому рюкзаку я повалился назад и сумел выбраться. Хотя я поднялся мокрый с головой, я не пошел назад, а стал обследовать края ямы. Через некоторые время я убедился, что это не яма, а главный фарватер реки.

Можно было бы скинуть одежду и плыть, сил было еще достаточно. Но что делать с рюкзаком? Я не мог его бросить, так как в нем был не только запас сухого белья, но и бесценные для меня книги, а также мои рукописи.

Я вернулся на берег и стал раздеваться. Для того чтобы стянуть джинсы, пришлось снова заходить в реку по пояс: наполнившись водой, джинсы снялись довольно легко. Пока я переодевался в сухое и развешивал на росших из земли кусках арматуры мокрую одежду, я окончательно продрог. К счастью, магазинная упаковка моего спального мешка оказалась надежной: спальный мешок был сухой, и я залез в него. (Это был единственный случай, когда я воспольззовался своим спальным мешком. Даже в тюрьме мне не пришлось в нем спать: я его прочифирил при первой же возможности.)

Я долго отдыхал и согревался под мостом и обдумывал разные варианты пересечения Одера. Например, глядя на железнодорожный мост снизу, я видел большие двутавровые балки. Обхватывая низ балки руками и ногами, можно было бы переползать постепенно от одного мостового быка к другому. Я также видел близко приваренные друг к другу поперечины, похожие снизу на горизонтально положенную лестницу. Разве нельзя передвигаться по ним, вися на руках? Естественно, при таком способе передвижения будут уставать руки, но тогда можно минутку повисеть на ногах головой вниз. Но чаще всего я вновь возвращался к мысли переплыть Одер.

Увы, во всех этих проектах слабым местом был мой рюкзак. За годы жизни на Западе я, оказывается, приобрел фраерскую привязанность к собственности. Словом, офраерел. И мне было самому смешно, когда я ловил себя на мыслях о том, что вот, если бы у меня была длинная-длинная бечевка, чтоб от берега и до берега, тогда бы я привязал один ее конец к рюкзаку, а другим концом обвязался сам и тогда уж...

Короче, я решил идти по мосту. Никогда в своей жизни я не ходил по железнодорожному мосту, поэтому я задавался вопросом: что делать, если по мосту пойдут сразу два поезда? достаточно ли там места, чтобы разминуться с ними? не придется ли прыгать в воду или висеть на руках, пока поезда не пройдут через мост? Меня успокаивало лишь то обстоятельство, что в течение часа через мост прошли только два поезда с интервалом в полчаса.

Я выбирался из-под моста наверх чуть не ползком. Вероятно, к мосту примыкала товарная станция: я слышал команды по репродуктору и свистки маневровых локомотивов. Пути были залиты ярким светом. Не так далеко от меня слышались людские голоса и шум работавшего локомотива. Метрах в 150 от выхода путей на мост стояла будка, над ее дверью горел свет. Прячась под откосом в кустах, я долго наблюдал за этой будкой. Никто оттуда не выходил и никто не заходил. Нельзя было идти на мост, не убедившись, что в будке нет охранника. Я стал подбираться к ней, пользуясь тем, что позади нее стояло несколько высоких распределительных ящиков путевой связи. Минуты две я простоял за ними, прислушиваясь, потом подошел к будке и заглянул осторожно в окно: там горел свет, но никого не было. Тогда я пошел на мост прямо по путям.

По краям моста были служебные проходы, выложенные металлическими листами. Эти листы прогибались под ногами и издавали страшный грохот при каждом моем шаге: бух-бух! бух-бух! бух-бух!.. До середины моста идти было страшно: я боялся, что мои железные шаги услышат немцы и погонятся за мной. Но, пройдя середину пути, я облегченно вздохнул: тут начиналась Польша.

Польский берег был абсолютно черный, оттуда не доносилось ни звука. Если бы там была охрана, я бы видел свет сторожевой будки. Я шагал все веселее: бух-бух! бух-бух!.. Вот уже и польский берег, последний пролет моста...

- Ложись! Стрелять буду! - В глаза мне ударил свет ручного фонаря. Я прикрылся рукой и увидел двух солдат с автоматами. С левой стороны моста стояла их будка, света в ней не было. Какое коварство!

Я и не подумал ложиться и не поднял руки, как мне приказывали. Странно, что я слышал команды солдат по-русски, хотя они, естественно, кричали на меня по-польски.

Солдаты злились, что я не выполняю их грозные команды и вообще не испугался их. А я чувствовал совсем не страх, а сильнейшую досаду, и в свою очередь напустился на солдат: вот, мол, сидите здесь в засаде, ловите добрых людей, как будто вам делать больше нечего; да вы хуже немцев, с их стороны у моста я ни одного человека не видел... Я говорил горячо и искренне, и мои слова задели солдат, они стали оправдываться: «Да вы что, дядя, разве мы гонялись за вами, - говорили они мне. - Вы же сами к нам пришли! Почему вы не прошли в другом месте, где все добрые люди ходят?» - они показывали руками вверх и вниз по течению Одера, где, видимо, полагалось переходить границу добрым людям.

Очень долго мы ждали машины из части. Командир, оказыватся, гулял на свадьбе и ни сам не ехал, ни машину не давал. Наконец, подогнали какой-то старый воронок с конвоем. «Черный ворон для белых ворон,» - пошутил я по-русски. Поляки поняли меня и засмеялись.

Польские офицеры, которые занимались мной в ту ночь, были очень недовольны тем, что я порчу им праздник. Они ворчали и матерились про себя, но обращались со мной уважительно. Так, при обыске никто не щупал меня и не лез в мои карманы и рюкзак, я все показывал сам, а офицер за столом только записывал. Можно сказать, что не было и никакого допроса: был составлен протокол задержания и задано два-три вопроса, на которые я ответил, ничего не скрывая. Я кратко обрисовал свою ситуацию и заверил поляков, что, как только они разберутся со мной и отпустят, я на первом же поезде поеду на восток Польши и буду переходить советскую границу. Никто надо мной не смеялся. Меня попросили подписать только одну бумагу - опись моих вещей и прилагаемую к ней квитанцию на сданные мной немецкие деньги. Затем было приказано накормить меня и отправить в камеру для задержанных. Пришел солдат с кухни, принес хлеб и сладкий чай, сказал, что если я хочу, то он разогреет кашу. От еды я отказался, но спросил офицера: почему он отправляет меня в камеру, разве я преступник? Офицер устало вздохнул: нет, он не говорит, что я преступник, но что он может сделать для меня? «Отпустите,» - посоветовал я. Офицер снова вздохнул: «Отпустить не можно», - сказал он и, раздражаясь, заворчал, что было бы лучше и для него, и для самого пана, если бы он перешел границу не в том месте, где расположен единственный в этом районе пограничный пост.

Я хорошо выспался в камере, а около полудня поляки передали меня немцам. Начальник немецкого КПП, не задав ни одного вопроса, тут же выпустил меня в город.

День выдался солнечный. Я немного погулял по Франкфурту, поел и поехал в Берлин.

* * *

На этот раз я без труда нашел гостиницу за умеренную плату. Гостиница находилась на тихой улочке, выходившей на Курфюрстендамм, вокруг было множество маленьких ресторанчиков и кафе, где можно было вкусно и недорого поесть.

Я перестирал грязные вещи, а джинсы выкинул в мусоросборник. Взамен я надел просторные коричневые брюки с подкладкой из тонкой байки. Это были мои старые зимние брюки, не знавшие износа. По лагерной привычке, сразу же после покупки я пришил к ним резиновые тормозки, они натягивали штанины, из-за чего дождевая вода стекала по плотному материалу вниз, не успевая впитаться в него. Для гамбургской погоды эти брюки были самое то, не продувало меня в них и в Берлине. Кстати, дождь здесь уже несколько раз переходил в снег.

Я забраковал также свой рюкзак: болели плечи от его узких лямок, с нескольких позвонков была стерта кожа. Но покупку нового рюкзака надо было отложить на понедельник.

Все воскресенье я провалялся под одеялом: спал, читал и без устали выгонял простуду, разбавляя горячее вино теплой водкой.

* * *

Я проснулся, чувствуя себя совершенно здоровым. Время вставать, время пить кефир и ехать к полякам за визой. Но я положил часы обратно на ночной столик и повернулся на правый бок, к окну.

Немецкий месяц ноябрь должно быть, самый мерзкий ноябрь во всем северном

полушарии. В открытой форточке клубится пахнущий бензином сырой воздух. На верхнем балконе соседнего дома висят выстиранные мужские кальсоны и клочья тумана. Эти бесформенные серые хлопья плавают между домами и медленно поднимаются вверх, и стены домов из красного берлинского кирпича покачиваются и парят, как освежеванные туши в забойном цехе.

Что-то не бодрил меня долгожданный понедельник. Я был уверен, что сегодня все пойдет как по маслу. За немецкие деньги поляки дадут визу самому пану Твардовскому. Вечером будет варшавский поезд, а через сутки я буду у литовской границы, в польских Таркишках.

У меня не было хорошей карты, а на туристской карте Польши, которую я купил в киоске, именно в Таркишках кончалась польская железная дорога. В Гамбурге я имел возможность приобрести подробную карту приграничных районов Польши с Литвой, где была показана каждая тропинка и обозначено чуть ли не каждое дерево. Наверняка и в Берлине существовал такой магазин, где можно купить подобные карты, не предъявляя шпионского удостоверения, но где этот магазин искать, где найти время на это? Кроме того, я уже знал, что чем подробнее карта, тем труднее мне по ней ориентироваться. Главное, чего не забыть сделать, это купить компас.

В десятом часу я наконец поднялся, сварил в кружке чифир, сдал ключи и комнату. Недалеко от вокзала купил синий спортивный рюкзак, переложил в него вещи из старого рюкзака и оставил его а автоматической камере хранения. Про компас я совершенно забыл, хотя был в спортивном магазине.

К полякам я приехал поздно, когда в миссии уже было слишком много народа. Мне пришлось получать визу со второй очередью, что заняло почти два часа. Виза стоила 60 марок.

Ожидая выдачи виз, я познакомился с одним русским. В. тоже ехал в Польшу, там у него была жена. Хотя у них уже был ребенок, свадьбу они решили играть только теперь. В. показывал мне фотографию жены: «Смотри! - щелкал он пальцами по фотографии. - Смотри, какая!» Я согласился, что баба хорошая. «Да какая баба! - возмутился В. - Ей 20 лет. Ты посмотри на нее и на меня! Посмотри!» Я понял мужика: ему хотелось, чтобы я восхитился тем, что он, страшный, как старая горилла, отхватил такую юную польскую кралю. А я ему вместо этого сказал, что встречал в тюрьме старых блатных, которые точно так же хвалились фотографиями молодых женщин, умалчивая о том, что такие фотографии они выигрывают в карты у первосрочников.

- Ты сидел? - спросил В.

- Сидел.

Дальше мы говорили более доверительно. Я откровенно рассказал о своих планах, а В. признался, что его тоже крепко обидела советская власть. Вот он, отсидев два срока, и уехал. Поначалу жил в Чехословакии и зарабатывал на жизнь старым ремеслом - контрабандой. Водил через границу людей, если они платили. (Я пропустил этот намек мимо ушей.) Теперь он живет в Финляндии, занимается коммерцией - продает легковые автомобили.

- Темные машины? - спросил я.

- Как «темные»?

- Ладно, поехали на вокзал. Возьмем тачку?

- Ты знаешь, я даже не знаю... Я редко бываю в Берлине.

- Ничего, у меня есть деньги.

В. не хотел ехать вечерним варшавским поездом, он сказал, что сядет ночью на московский. Мы распрощались на вокзале. Но через час я совершенно случайно встретил В. в городе. Мы вместе поели и снова разошлись.

На этот раз варшавский поезд был полупустой, а после Франкфурта я вообще остался в купе один. Свет в поезде был очень слабый, читать я не мог, да и спать не хотелось. От скуки я порылся в рюкзаке в поисках чего-нибудь съестного, но ничего, кроме картофельных чипсов, не нашлось.

Время было за полночь, я стоял в коридоре и грыз свои чипсы. По вагону шла какая-то женщина, в зубах у нее дымилась настоящая папироса. Женщина остановилась возле

меня и что-то сказала мне по-английски. Я понял, что она хочет чипсов. Женщина оказалась русской. Мы ели чипсы и разговаривали. О себе она ничего не говорила, даже не назвала своего имени, по ее выговору я предположил, что она из южных областей России. Узнав, что я хочу переходить советскую границу, женщина перестала хихиать и говорить пошлости. Она сходила к себе и вернулась с бутылкой. Помню, что она предложила мне помощь через своих варшавских знакомых. Я сразу вспомнил контрабандиста В., и у меня возникло нехорошее чувство. Но мои подозрения скоро рассеялись. Моя попутчица оказалась славной бабенкой. Она называла меня «анкогоником» и «инопутянином» и после каждого стакана хотела «потсоловаться», так как у нас не было никакой другой закуски.

Мы расстались рано утром в Варшаве. Ей нужно было в город, мне - на вокзал, поменять марки на злотые и узнать, когда будет поезд на Таркишки.

- Счастливо, инопутянин! - помахала мне моя попутчица своим мятым платочком.

* * *

Станция Таркишки в расписаниях северо-восточного направления не значилась. В справочной мне сказали, что я должен ехать в Сувалки и там справиться еще раз.

Поезд в Сувалки ходил раз в сутки и отправлялся во второй половине дня. У меня было полных 9 часов времени. На вокзале негде было приткнуться, на улице лил дождь. Мне не удалось подремать ни минуты, все время я был на ногах, таскаясь с тяжелым рюкзаком по огромному вокзалу и близлежащим улицам.

Поездка была унылой. Поезд шел медленно и останавливался на каждой станции. Чем дальше мы продвигались на северо-восток, тем пустынней и глуше становилась местность и тем сильнее лил дождь. Пассажиры были большей частью крестьяне, народ малоразговорчивый. Они не очень-то приветливо реагировали на то, как я пытался заговорить с ними по-русски или по-немецки. «Германец, курва!» - ругнулась в мой адрес одна бабка. К счастью, от самой Варшавы ехал со мной один поляк, который не говорил по-немецки и не понимал русского, но не отказывался говорить, и мы с трудом, но все-таки объяснялись. От него я получил кое-какие сведения о Сувалках и близлежащих селах, узнал, что в Таркишки я могу добраться автобусом или по местной железнодорожной ветке. Я поинтересовался: не знает ли мой попутчик верной возможности перейти «зеленую границу»? Поляк не удивился моему вопросу, но спокойно ответил, что больше нет необходимости переходить границу лесом, так как недалеко от Сувалков открылся пропускной пункт, им может воспользоваться практически любой поляк и литовец.

В Сувалки поезд пришел поздно вечером. Я взял частника и попросил его отвезти меня в гостиницу. Эту гостиницу называли отелем, но это был обыкновенный дом приезжих с комнатами на верхнем этаже и столовой внизу, откуда поднималось вверх жестокое зловоние. В переводе на марки, цены за комнату и в столовой были фантастически низкими, так что я примирился с отсутствием горячей воды, забитым унитазом и отвратительной кухней. Главное неудобство для меня состояло в том, что здесь, как и в поезде, мои попытки говорить по-русски или по-немецки вызывали у поляков враждебность. В столовой, куда я спустился ужинать, было просто невозможно узнать, в каких блюдах у них нет свинины, а так как немясных блюд не было совсем, то я ушел с чувством, что поужинал свининой, и ночью из-за неприятных ощущений в желудке мне плохо спалось.

Утром я пошел на почту и отправил заказным письмом свой немецкий паспорт в Гейдельберг на имя одной доброй девушки, с которой мы дружили с первого дня моего приезда в Германию. Я обещал ей, что в день, когда я буду переходить границу, напишу ей письмо и пошлю его вместе со своим паспортом.

Этот день был 7 ноября.

* * *

Я потерял много времени, разыскивая железнодорожную станцию. Так как я приехал со станции в гостиницу поздно вечером, то дорогу, конечно, не запомнил.

У сувалковчан, видимо, был собственный говор, и когда я расспрашивал их, то почти ничего не понимал из их объяснений. Наконец два парня объяснили мне дорогу с помощью жестов, да так доходчиво, что я дошел до станции, ни разу не сбившись с пути. К сожалению, удобный для меня поезд на Таркишки уже ушел, следующий должен был отправляться

слишком поздно.

Когда я вышел на нужную автобусную стоянку, то был разочарован еще раз: судя по расписанию, на Таркишки автобусы вообще не ходили. Может быть, автобусное сообщение с Таркишками и было, но то ли я находился на неправильной остановке, то ли туда ездили с пересадками. На моей карте было обозначено еще одно село, которое находилось к границе еще ближе, чем Таркишки, кроме того, по карте выходило, что от этого села до Таркишек не более 4-6 километров. Однако и тут я опоздал: рейсов на это село уже не было. И вообще, все автобусы ходили только в первой половине дня, а времени было уже около 2 часов.

Я хотел было идти до Таркишек пешком, и уже прошел километра три и был за городом, но увидел, что дорога все время разветвляется и я обязательно заблужусь. Поэтому я вернулся к автобусной стоянке. Там стояло несколько крестьян с мешками. Значит, должен был быть какой-то автобус. Я решил ехать на любом автобусе, лишь бы он шел по направлению к границе.

В автобусе уже не было сидячих мест, и я стоял у двери рядом с водителем. Водитель с большим интересов поглядывал на меня и наконец спросил, откуда я и куда еду. Я отвечал по-русски, от чего водитель пришел в восторг. Оказалось, что он литовец, но всю жизнь прожил в Польше. Он говорил, что хорошо знает русский. Это было не совсем так: водитель мог произнести всего 5-6 исковерканных русских слов, но говорил на таком польском, который я без труда понимал.

Отвечая на вопросы водителя, я ничего не скрывал: сказал, что мне нужно доехать до ближайшего к границе села, а потому пройти к границе, чтобы перейти ее. Он приложил палец к губам, призывая меня к молчанию. Водитель кивком подал мне знак наклониться к нему: «в автобусе есть люди, понимающие русский, надо быть осторожным!» - шепнул он. Через некоторое время он снова кивнул мне: «Поговорим после, когда выйдут все пассажиры», - сказал он мне в ухо.

Было довольно неприятно шептаться на виду у всех пассажиров. Я ведь был здесь чужой человек, Бог знает, что подумают обо мне люди.

Водитель жил как раз в том селе, что находилось рядом с Таркишками. В этом смысле мне повезло, так как маршрут автобуса не проходил через это село, но это был последний рейс, и водитель возврашался домой.

Когда мы остались одни, он отъехал на край села. Мы разложили на полу мою туристскую карту.

- Вот мы, - показал водитель наше местонахождение, - а вот Таркишки, до них отсюда три километра. А вот тут, - он провел пальцем линию от Таркишек к литовской границе, - тут железная дорога. На твоей карте железная дорога кончается в Таркишках, а дальше она не обозначена.

- Это секретная железная дорога?

- Нет, забытая дорога, брошенная. По ней поезда не ходят. Некуда им стало ходить с тех пор, как русские у Польши правый бок отгрызли.

- А что тебе русские? Ведь там Литва.

- Это ты сейчас говоришь. Посмотрим, кто тебя будет ловить ночью: литовцы или русские, пся крев!

- Значит, дорога идет до самой границы?

- Еще дальше - до самой Москвы.

Водитель советовал мне не идти в Таркишки - это будет лишний крюк, но выходить на железную дорогу напрямик отсюда: надо идти через это поле на юго-восток, потом будет лес, я должен идти в том же направлении и обязательно выйду к железной дороге. Только надо дождаться наступления темноты.

Мои часы показывали четвертый час по Гамбургу. Уже смеркалось. Я пригласил водителя пообедать со мной.

- Есть тут какое-нибудь приличное кафе?

- Есть трактир в Таркишках, - задумался водитель. - А здесь... Да вот, иди по этой улице направо, метров через 200 увидишь сам.

- Тоже трактир? - улыбнулся я. Меня позабавило слово «трактир», давно я его не слышал в живой речи. - Так ты приходи, я закажу водки.

- Да, скоро приду. Вот только отгоню автобус в парк.

Здешний «трактир» был не лучше гостиничной столовой в Сувалках. Я не рискнул заказывать из еды ничего, кроме блинов с чаем. Блины были ничего, толстые, жирные, но могли бы быть вкуснее, если бы их не забыли поджарить. Чай, вероятно, здесь заваривали прямо в стакане, так как на поверхности его плавали крупные нифелинки. Я стал вылавливать нифеля вилкой и тогда лишь понял, что это тараканьи крылышки. Невозможно было пить и водку: от нее на расстоянии шибало аптекой. Я расплатился и вышел на улицу.

Ровно час я прождал у входа в «трактир» моего водителя. Совсем сгустились сумерки, усиливался дождь, и становилось холоднее. Я пошел по дороге к Таркишкам. По пути мне попался магазин, и я купил буханку хлеба, несколько плавленных сырков и банку рыбных консервов. Ничего более путного в магазине не было.

Уже при входе в Таркишки около меня притормозил «жигуленок». Водитель опустил стекло и заговорил со мной по-польски. Я ответил по-русски, что не понимаю польского. «Хорошо, будем говорить по-русски», - сказал водитель и спросил, не знаю ли я как ему проехать туда-то. «Не знаю, я здесь впервые», - ответил я. Водитель стал спрашивать меня, откуда я и куда иду. Он говорил по-русски очень хорошо, но слишком правильно, как не может говорить настоящий русский. В машине сидели еще один мужчина и женщина с детьми. Они молчали. Лобовые вопросы водителя случайной встречной машины насторожили меня, и я стал врать: мол иду на станцию, чтобы уехать в Сувалки, а оттуда - в Варшаву. Машина отъехала, а я пошел дальше, чувствуя неприятный осадок на душе: первый раз в того времени, как я выехал из Гамбурга, мне пришлось говорить неправду.

* * *

Железнодорожная станция находилась на краю Таркишек, и я свернул сразу к ней, налево. На путях и на платформе я не видел ни одного человека. Только пройдя дальше, у маленького станционного здания я увидел легковушку. Ее владелец, видимо, с нетерпением ожидал прибытия поезда, так как он то и дело выскакивал из машины или бежал на платформу, или к служебному окошечку у входа на станцию. Вероятно, поезд опаздывал, и мужчина волновался.

Я прошел всю станцию. В конце ее кончалась и линия электропередачи, на светофорах горел красный свет, путь был перегорожен, как тупик. По состоянию насыпи и рельсов было очевидно, что путь этот действительно не используется.

До наступления полной темноты оставался еще примерно час, так что, если кто-нибудь наблюдал за мной, он мог видеть, как я иду по путям по направлению к границе. Поэтому я сошел с насыпи и щел низом, где рос скрывавший меня кустарник. Но местность была сильно заболоченная, мне часто приходилось подниматься на пути, когда впереди появлялся ручей или открытое болото. Скоро я и вовсе перестал таиться и шел только по путям. Минут через сорок такой нескорой ходьбы слева от меня появился небольшой лесок. Он показался мне сухим, и я спустился вниз.

Здесь я поужинал и сжег все свои документы. Собственно, сжег я всего две бумажки: рекомендательное письмо от одного франкфуртского издательства одному преподавателю Вильнюсского университета и польскую визу с таможенной декларацией (поляки, кроме того, что ставят штамп визы в паспорте, дают еще вкладыш с таким же штампом.)

После того как польские пограничники передали меня назад немцам, я не хотел, чтобы советские пограничники поступили со мной так же. Я думал: если я попадусь пограничникам, имея документы, они свяжутся с поляками или немцами и выпихнут меня обратно - ваш человек, ваши проблемы. Но раз никаких документов у меня не остается, они начнут выяснять, кто я такой, а выяснив, что я советский гражданин, отпустят. Таким образом, если мне не повезет и я попадусь, то и эту неудачу я обращу в свою пользу.

Все это я обдумывал вполне серьезно. Я еще не имел повода упрекать себя в наивности, я еще не знал, что именно в этот час на советской погранзаставе получили мои приметы как потенциального нарушителя границы.

Пока я был в леске, совсем стемнело. Набирал силу дождь, и хотя он был холодным, я

ему радовался. Пока промокали только ноги. Но у меня был достаточный запас сухих носков, а моя обувь - кроссовки ботиночного типа - не нуждалась в сушке, достаточно было вылить из нее воду и обтереть внутренность сухой травой или тряпкой. Такова же была моя куртка: в ней я мог подолгу лежать в воде и грязи, но стоило ее разок встряхнуть, и на ней не оставалось ни капли воды и ни пятнышка грязи. Этой «альпийской» курткой из стопроцентной химии снабдил меня на дорогу мой друг К. Не знаю, как чувствовал себя К. в этой куртке в горах, но здесь она была самое то. Куртка была мне велика, потому что К. был на голову выше и на 100 фунтов здоровее меня, но как раз это и было хорошо: куртка укрывала меня от макушки до щиколоток, а при желании я мог надеть ее поверх рюкзака и спокойно застегнуть молнию.

По правой стороне железной дороги попадались безлюдные хутора. Кое-где в домах горел свет, но на улице я никого не видел. Впереди был мост, под ним в глубокой черной яме шумела вода. Я боялся, что путь на мосту может быть разобран, и включил на секунду фонарик, дававший очень узкий луч света. И тут вниз с откоса метнулись две тени и скрылись в ивняке. Я присел между рельсов и долго прислушивался. Все было тихо. «Спокойно, это косули!» - сказал я себе и пошел вперед. Судя по тому, как сыпалась щебенка с откоса и трещал ивняк, можно было скорее предположить, что я вспугнул людей. Но думать о том, что это были люди, я боялся: такие подозрения сильно убавили бы мою решимость идти через мост: ведь на мосту человек и без того чувствует себя менее уверенно, чем на земле. Наверное, я прошел от моста не больше километра, когда на пути возник шлагбаум. Других заграждений не было: два полосатых столба, полосатый шлагбаум и предупредительные надписи. В темноте я не мог прочитать, что там было написано, но все было ясно и так: меня предупреждали, что дальше шлагбаума ходить «не можно».

Я сел на рельс и закурил. Этот шлагбаум и строгое предупреждение «не можно!» напомнили мне, что по ту сторону мое предприятие становилось неотличимым от уголовщины. Стараясь ни о чем не думать, я докурил сигарету до конца и еще раз прислушался к себе: молчок, никакого беспокойства. Вокруг меня тоже царили тишина и мир.

Я пролез под шлагбаумом и дальше шел быстрым шагом. Путь становился все хуже, все шпалы были гнилые и висели в воздухе, некоторые с треском ломались под ногами. Видно, за этим участком пути никто не смотрел, скорее всего, я уже на нейтральной полосе.

Начался лес, пока еще мелкий. Здесь через железнодорожный путь проходило заграждение из колючей проволоки. Я с минуту прислушивался и напряженно вглядывался в кустарник, опасаясь тайного пикета. Ничто не говорило об опасности, да и само заграждение не казалось страшным: столбы гнилые, большая часть их лежит на земле, только несколько слабо натянутых нитей колючей проволоки преграждали мне путь. Я поднял их руками и прошел под ними. Дальше был устроен завал: на путь были навалены деревья, куча каких-то металлических конструкций, мусор. Под ногами путались нити сигнализации, но сигнализация, понятное дело, не действовала. Один раз я упал, запутавшись в «паутине». Но ее было не так уж много, и лежала она в основном по сторонам дороги: вероятно, кто-то раскидал ее, расчищая себе путь.

Такая своеобразная полоса препятствий была растянута метров на двести. Дальше железнодорожный путь был в отличном состоянии, хотя по рельсам было видно, что поезда тут тоже не ходят. Путевая насыпь была высокой, лес по ее сторонам был тоже другой» здесь преобладали сосны и ели. Деревья росли густо, очень высокие, но добрая половина их была мертвой, очень много гнилых деревьев лежало на земле. Мертвый лес. Из-за болот железнодорожную насыпь тут защищали глубокие дренажные канавы. Слышался пугающий скрип трущихся друг о друга сухих деревьев.

Настроение мое поднялось, я бодро топал по шпалам и мурлыкал под нос мотив какой-то песни. Мне казалось, что граница осталась позади и я иду уже по советской территории.

* * *

Полтора часа шагал я в полнейшей тишине и темноте по мертвому лесу. Наконец впереди появился просвет. Здесь кончался мертвый лес, низкие тучи и капли дождя рассеивали свет бесцельно ковырявших небо и землю узких прожекторных снопов. То, что я увидел, было страшно; я быстро опустился на колени.

Прямо передо мной была мощная баррикада, сооруженная из железобетонных надолб и вкопанных в землю рельсов. Все это было завалено целым вагоном колючей проволоки, откуда «росли»толстые стальные прутья, наклоненные остриями на запад. За этим сооружением - уложенная длинной бочкой спираль. Жгуты были скручены, видимо, из полдюжины нитей колючей проволоки, и кольца ее достигали человеческого роста. За спиралью - занавес «паутины». Верхняя часть «паутины» шевелилась - то ли сама по себе, то ли от ветра - как настоящий занавес, и слышался резавший нервы скрип.

Через «паутину» было плохо видно - мешала смотреть не столько сама «паутина», сколько закрытые створки огромных ворот. За этими воротами была, кажется, КСП, были засыпаны землей даже рельсы. Посредине границы стояло самое высокое заграждение: нити колючей проволоки были натянуты часто и очень туго, бетонные столбы высотой до трех с половиной метров были на обе стороны оборудованы кронштейнами, к которым крепились обнаженные провода и фонари. Эти фонари в тот час почему-то не горели.

Я стоял на коленях и ждал, что вот-вот из ближайших кустов молча выскочит и молча вцепится в мое горло какой-нибудь Мухтар или Джульбарс, что с вершины высокой сосны спрыгнет мне на плечи удалой пограничник и в мгновение ока перепилит мне шею тупым штык-ножом. Наконец я ждал, когда же пойдет вдоль границы зоркий патруль. Но ничего не происходило, лишь поскрипывала «паутина», да было слыышно, как работают мои кварцевые часы.

Я обошел баррикаду и подошел к первому проволочному заграждению, за которым лежали бочки спирали. Оказалось, что за срединным заграждением с кронштейнами были еще надолбы, за ними - еще одно проволочное заграждение, а там - еще что-то, и еще что-то... «Да, крепко перегородили они железную дорогу, - подумал я, - не доверяют полякам, бздят, что они бронепоезд на них пустят».

Однако налево и направо от железной дороги граница производила не лучшее впечатление. Правда, там не было спиралей и «паутины», но отсюда я видел целых 6 заграждений из колючей проволоки, из которых два посредине были очень серьезными. (На самом деле заграждений оказалось еще больше, если считать те, которые, видимо, выполняли маркировочную функцию и обозначали границу границы и границу границы границы.)

Был восьмой час по гамбургскому времени. Я вошел в лес по левую руку от себя, сделал 100 шагов на север и снова вышел к границе. У кромки мертвого леса я прислонился к дереву и выкурил сигарету. Пора! Я глубоко вздохнул, сказал свою обычную молитву: «Господи, храни меня!» и шагнул вперед.

* * *

Чтобы преодолеть все заграждения, мне потребовалось не меньше пяти минут. Наверное, это можно было бы сделать быстрее, но я не суетился, берег одежду и вещи, берег себя. Я внимательно осматривал каждую проволочку, чтобы не попасть под ток и не нарушить сигнализацию, не резал колючую проволоку, но аккуратно оттягивал по две нити вверх и вниз и в получившийся лаз просовывал сначала рюкзак и верхнюю одежду, и лишь потом пролезал сам.

Около полукилометра я прошел полем и по грунтовой дороге, затем свернул снова на железную дорогу. Я не спешил, шел, соблюдая все меры предосторожности. Каждые несколько минут я оглядывался назад: на границе все было спокойно. И только через полчаса после перехода я увидел, как по всей линии границы зажглись фонари. Одновременно до меня донеслись людские голоса и собачий лай, в воздухе забегали лучи света от карманных фонариков и автомобильных прожекторов. Я прибавил шаг, но не паниковал: погони за мной еще не было, пограничники носились вдоль границы, отыскивая мои следы в высокой болотной траве.

Собаки напали на мой след довольно-таки быстро, но столь же быстро потеряли его. Пограничники снова забегали туда-сюда, матеря друг друга и собак. До них было километра два, но я их прекрасно слышал, и страх ускорял мои шаги.

Через несколько минут собака снова понеслась по следу; лай стал азартным и злобным и быстро приближался. Я побежал во весь дух. Но метрах в пятистах от меня собака снова

сбилась со следа и, понукаемая грозными криками моих преследователей, взяла ложное направления. Погоня ушла в сторону.

Я перевел дух и спустился вниз, так как железнодорожная насыпь становилась все выше и здесь меня могли перехватить прожекторами. Внизу протекал ручей. К счастью, он был мелкий, и я шел прямо по нему или поочередно то по одному его берегу, то по другому.

Ручей смывал запах моих следов, но я не учел, что из-за шума я не услышу приближения погони. Действительно, пограничники возникли на железнодорожном полотне неожиданно для меня. Собака ринулась по следу вниз и жалобно заскулила у ручья. Пограничники, конечно, поняли, что я пошел по ручью, но не знали, куда я пошел, и часть их побежала вниз по ручью, другая же часть - в мою сторону. Собаковод носился с собакой по кругу, все время его расширяя; плясали огни ручных фонарей; на пути въехала машина, и оттуда ударил яркий свет прожектора.

Между мной и преследователями было не больше 200 метров. Глупо было бы пытатья уйти по прямой. Я побежал в сторону от ручья, пересек узкую ленту болота и попал на вспаханное поле. Это поле было на склоне долины ручья, и не нужно было бежать в гору. Пашня представляла собой жуткое месиво. Ноги уходили в грязь по щиколотки, я падал, бежал на четвереньках, полз, вставал и снова падал и вжимался в грязь, уходя от искавшего меня прожектора. В ушах стучало так, что я уже ничего не слышал. Два-три прыжка - свет - и я плюх в борозду, еще прыжок - снова рядом свет, и я снова плюхаюсь. Это был смертельный, неравный поединок, хотелось зарыться в грязь, подобно кроту. Но нельзя было лежать долее секунды, надо было уходить, уходить...

Я одолел этот склон. Не позволяя себе оглядываться, я побежал по пашне дальше. Здесь меня не мог уже настичь прожектор, но оставшаяся внизу собака носилась кругами и в конце концов должна была выйти на мой след. Впереди горел свет: это был крестьянский хутор. Я бежал туда на последнем дыхании.

Хозяйственные постройки, сад и сам дом были огорожены колючей проволокой. Видать, этого добра здесь было много. Я сходу одолел загородку и вбежал во двор. Залаяла собака, но я слышал по голосу, что это не овчарка, а просто дворняжка, и лай ее был для меня как доброе приветствие.

Хорониться во дворе было бы рискованно, и я перебежал его и упал на землю в маленьком садике. Собственно, я споткнулся, зацепившись ногой за колючую проволоку. Но все равно бежать я уже не мог: отказывало сердце, в груди что-то рвалось. Я не стал подниматься.

Я был уверен, что через минуту пограничники будут здесь. Или на лай своей собаки выйдет хозяин и свяжет меня, совершенно обессиленного. Мной овладело равнодушие. «Будь что будет!» - думал я и лежал не шевелясь.

Так я пролежал четверть часа. Давно успокоилась хуторская собака, погас свет в доме. Со стороны железной дороги все еще слышались громкие выкрики, и продолжал буравить небо прожектор. Но они так и не поднялись на склон. Значит, их собака не отыскала мой след. Если мои преследователи все еще у ручья, то между нами как минимум полтора километра. Я решил, что могу позволить себе выкурить сигарету.

* * *

Больше пограничники и духа моего не слышали, и тени не видели. Я же их видел и слышал на протяжении всей ночи. Два раза поисковые тройки (два солдата плюс собака) проходили буквально в пяти шагах от меня. По дорогам разъезжали патрульные машины и мотоциклы, передвигались с места на место прожекторные установки, в местах, где усталый и замерзший беглец мог бы искать укрытия от непогоды, были засады. Я далеко обходил все хутора и строения, даже если они казались мне брошенными, и не приближался к большим копнам сена и соломы. Однажды, когда я попал в радиус действия двух прожекторных установок в голом поле и был вынужден переползти его, пользуясь прикрытием скотного двора и расположенных вблизи жилых построек, я лишь чудом, а вернее, благодаря звериному чутью, не напоролся на такую засаду. Заметив в тени ограды «скотника» с автоматом между колен, я сумел незаметно для него отползти назад и обошел хутор с другой стороны.

Дождь не прекращался всю долгую ночь. Иногда на короткое время на каком-нибудь

участке неба появлялось несколько звезд, но сориентироваться по ним я не мог. Все же я полагал, что держу в голове направление частей света, и в соответствии с этим старался выдерживать общий курс на восток.

Местность была сильно заболоченная, а более возвышенные места были сплошь заняты распаханными парами, где идти было еще труднее, чем по болоту. Мне приходилось перепрыгивать и переходить вброд бесчисленные дренажные канавы, погружаясь по самую мошонку в ледяную воду. Но более всего мне досаждали прожектора. Они вырастали словно из-под земли в самых неожиданных местах и иногда так близко от меня, что я слышал шум работавшего движка. Когда в движении их лучей была какая-то закономерность, я приспосабливался к ней, но чаще всего прожекторист лучил без всякой системы, устраивая дикие пляски света то в одном месте, то в другом, и мне приходилось делать короткие перебежки, прыгать из стороны в сторону и падать, где попало: в воду между кочками, в канаву, борозду на поле...

Я прошагал всю ночь, лишь изредка останавливаясь для того, чтобы сменить белье и носки и отхлебнуть из термоса горячий чифир. Время от времени из-за туч выглядывала луна. Я пытался по расположению ее на небе скорректировать свой курс, и, естественно, все больше сбивался с него, так как при отсутствуии звезд нельзя по одной луне сориентироваться на незнакомой местности.

На одном болоте мне встретились пасущиеся лошади. Они издалека почуяли мое приближение и насторожились, высоко подняв головы. Как раз светила луна, и напряженно прислушивавшиеся к моим шагам лошади были прекрасны. Когда я поднялся из заросшей кустарником низины, все лошади, кроме одной, сошли с места и отошли на край поля. Оставшаяся лошадь была, вероятно, серой, но при лунном свете она казалась мне серебристо-белой. У меня и в мыслях не было подходить к лошадям, но белая лошадь коротко и негромко заржала и побежала ко мне. Она остановилась в пяти метрах от меня. Я протянул к ней руку: лошадь красиво отвела голову назад и снова заржала. «Что ты говоришь?» - спросил я вслух. Лошадь косила на меня глазом и не отходила. Я осмелел и, подойдя к лошади, похлопал ее по шее. Лощадь задрала голову и фыркнула. Но она не сделала ни шага назад. Казалось, она чего-то от меня ждала. Может, лошадь предлагала мне себя?

Позже я много раз вспоминал эту лошадь и ругал себя: ну почему я не сел на нее? На лошади я проскочил бы зону оцепления в течение часа-двух. Верхом я бы ушел от любой погони, мне были бы не страшны ни собаки, ни машины, эта лошадь ни за что не подвела бы меня. Правда, она кому-то принадлежала, и после мне обязательно инкриминировали бы кражу.

В 5 часов утра я все еще точно не знал, где нахожусь. Я стоял на краю леса и смотрел туда, где по моему предположению был восток. Там, за открытым полем на расстоянии 5-6 километров от меня, светилась цепь электрических огней. Я не в первый раз выходил на эти огни, но звериный страх перед светом и человеческим жильем заставлял меня поворачивать назад или в сторону.

Наверное, это был город, но меня начинало удивлять, что я так долго, уже полных 8 часов, не могу обойти его. Неужели здесь может быть такой большой город? По моей карте ближайший к границе большой город - Капсукас, но до него не так уж близко.

Появились первые признаки рассвета. Я решил, что оставаться в лесу неумно: как только встанет солнце, лес начнут прочесывать. Лучше уж использовать остаток ночи на то, чтобы подобраться поближе к городу и спрятаться где-нибудь там. Кроме того, наверняка к этому городу подходит железная дорога и мне, может быть, удастся вскочить на проходящий товарняк.

Передо мной было совершенно открытое поле, со стороны города его лучили несколькими прожекторами. Километрах в трех от меня виднелась полоска невысокого леса. Скорее всего, это молодая лесопосадка. Сначала нужно доползти дотуда.

Мне действительно почти все время приходилось ползти, но иногда несколько десятков метров удавалось пробежать, когда охваченные утренней дремой столбы света повисали неподвижно в воздухе или останавливались, ткнувшись колом в землю. На мое счастье, дождь

прекратился час назад, дул свежий ветерок, и теперь пашня быстро обсыхала. Так что я передвигался достоточно быстро.

Скоро я услышал шум ручья, он тек в глубокой впадине, разрезая поле ровно пополам. Ручей был не очень широким, но и не настолько узким. чтобы я мог его перепрыгнуть с рюкзаком за плечами. В то же время он оказался глубоким, а на дне его был большой нанос грязи, из-за чего нельзя було подойти непосредственно к береговой кромке - я погружался в грязь выше своей обуви.

Не было времени искать брод или мостик - быстро светало. Мне пришла мысль перепрыгнуть ручей без рюкзака, а потом перетащить его с помощью бечевки. Чтобы защитить рюкзак от воды, а завернул его в куртку и сверху плотно обвязал бечевкой. В наиболее узком месте я положил рюкзак у воды, чтобы воспользоваться им как трамплином. Конец бечевки я намотал на палец.

К сожалению, для разгона был только один шаг. «Апс!» - скомандовал я себе и прыгнул. Прыжок был удачным, но, когда я потянул бечевку на себя, тяжелый рюкзак выскользнул из куртки и остался на том берегу ручья. Мне пришлось полностью раздеваться и переходить ручей назад, так как совершить обратный прыжок было невозможно.

Пока я смывал с себя грязь и одевался, в природе что-то изменилось. Я посмотрел вверх, и все понял: небо полностью очистилось от туч, я видел звезды. По левую руку от меня был запад, по правую - восток. И то, что я принял за огни города, было на самом деле границей.

Розово пенился восток, и одна за другой гасли звезды, но на западе все еще лучили прожектора, и по всей линии границы горели фонари. Было 6 часов утра, я был у границы, которую перешел вечером.

* * *

Я возвращался в лес не таясь - все равно уже было светло. По краю леса шла сухая и хорошо накатанная дорога, она вела на восток. Несколько раз мне попадались какие-то постройки, однажды я прошел рядом с солдатскими казармами, но было еще слишком рано, и я не видел ни людей, ни машин.

Примерно через 4 километра лес кончился. Здесь проходило шоссе. Мимо меня проехал грузовик с военными номерами, в кабине был только солдат-водитель. Наверное, он повез куда-то солдатский завтрак. Далеко впереди я видел городок. Он был расположен на возвышенности и был ясно виден, но идти до него предстояло, наверное, часа два.

Я отчетливо слышал, как по репродуктору объявили об отправлении поезда. Скоро я услышал звук набиравшего скорость поезда и даже увидел его.

Я достал карту. Ближайший к границе город на железной дороге - Ладзияй. Вероятно, это он и был. Я сложил карту и бросил ее в сторону от дороги: теперь она мне была не нужна.

Ближе к городу я побрился и почистил зубы у ручья. Я поднялся с трудом, а когда взвалил на плечи рюкзак, то зашатался. Действительно, я страшно устал и вошел в город, еле волоча ноги.

По гамбургскому времени был десятый час. Совершенно обессиленный я сидел в начале первой улицы города на своем рюкзаке и размышлял о том, что нужно предпринять в первую очередь. Конечно, сначала нужно позвонить в Москву и предупредить друзей. Потом найти банк и обменять марки на рубли: у меня было с собой только два рубля монетами рублевого достоинства «100 лет со дня рождения В.И.Ленина», которые подарил мне на прощание мой гамбургский друг И. Потом я буду искать пассажирскую станцию (я сидел как раз около товарной станции, но она была пуста, и нельзя было надеяться на то, что сегодня оттуда отправится поезд).

Здесь люди плохо понимали русский язык. С большим трудом, пользуясь знаками, я узнал, где находится почта. Дощечка у входа в большое здание говорила, что здесь не только почта, но и банк. Когда же я зашел внутрь, то узнал, что почте и банку в этом здании отведена маленькая комнатушка на первом этаже. Там за стойкой сидели две женщины. Не говорившая по-русски пожилая женщина была филиалом районного сберегательного банка; улыбчивая девушка, произносившая русские слова с легким, красившим ее речь акцентом, - почтой. Между женщинами стояла высокая перегородка.

Оказалось, что сберегательный банк валютными операциями не занимется. Это

объяснила мне девушка.

- Я хочу заказать телефонный разговор с Москвой, - сказал я девушке. - Но у меня только два рубля русских денег. Возможно ли это?

- Возможно, - улыбнулась девушка. - Называйте номер телефона. Заказ был сделан. Я сел за столик и стал ждать. Сюда заходили только люди пенсионного возраста и школьники. Пожилые люди разговаривали с пожилой сотрудницей сберегательного банка: получали пенсии, делали вклады, обсуждали новости. Дети подходили к сотруднице почты: покупали открытки, письменные принадлежности, рассмаривали марки. Все, особенно дети, с любопытством смотрели на меня.

Вошла какая-то женщина в рабочей одежде. Она остановилась в дверях и внимательно посмотрела на меня. Я не обратил на нее ниакого внимания. Она подошла к банковской служащей и перекинулась с ней несколькими словами. Хотя они говорили по-литовски, но я понял, что разговор совершенно не деловой и ко мне тоже не имеет отношения. Женщина собралась уходить. Она повернулась от стойки ко мне и что-то сказала по-литовски.

- Простите, я вас не понял, - ответил я. - Я не говорю по-литовски.

Женщина в рабочей одежде ушла. В это время меня соединили с Москвой. Я коротко поговорил, отдал девушке свои два рубля и спросил ее, где тут железнодорожная станция. Она охотно объяснила мне это и предупредила, что поезда мне придется ждать долго и лучше ехать автобусом или на попутке.

Я все-таки пошел к железнодорожной станции. Далеко впереди меня со всех ног бежала женщина. Я узнал ее по бесполой рабочей одежде и широким мужицким плечам. Скоро она скрылась за поворотом к станции. Я переборол дурное предчувствие и продолжал свой путь в том же направлении.

Дойдя до поворота, я увидел, что через железнодорожные пути идут мне навстречу два солдата. Из служебного входа станции выглядывала та самамя широкоплечая тетенька.

За те полчала, что я сидел на почте, мои переутомленные мышцы успели охладиться и задеревенели. Я и шагал-то, как член Политбюро, нечего было думать о том, чтобы бежать. «Попал как х...р в рукомойник!» - подумал я с досадой.

Солдатики, прежде чем взять меня, поздоровались со мной и вежливо расспросили, кто я такой и что здесь делаю. Арест произошел без эксцессов, да я и сам не сопротивлялся. Солдатики все время улыбались, и откровенно радовались своей удаче.

Они повели меня на станцию. Старший из солдат зашел в служебку, чтобы вызвать по телефону машину с заставы. Я под охраной второго солдата остался в тамбуре. К нам из служебки вышла широкоплечая тетенька. Видимо, она здесь работала. Своим обветренным лицом и мозолистыми руками она напомнила мне мою маму. Тетенька стала охать и жалеть меня, да так искренне, что мне было стыдно за свои подозрения. «Какая простая женщина!» - подумал я. Сердобольная тетенька между тем наказывала солдатику не обижать меня:

- Ты сам подневольный человек, - говорила она ему. - но ты-то отслужишь два года и домой пойдешь, а его в тюрьму на десять лет посадят. И одежду с него там снимут, и мешок заберут, голодом морить будут, пока все не расскажет. Добрая тетенька повернулась ко мне:

- Не был еще там, в тюрьме-то? Ох-ох!.. А у тебя, наверное, доллары есть?

- Нет, у меня марки, - признался я.

- Что ж, что марки. И марки отберут у тебя. Отберут же? - Она посмотрела на солдатика. Тот, кажется ничего не понимал, но на всякий случай широко улыбался.

- Ты дай мне свои марки, а я тебе хлеба дам.

Вот такая простая тетенька.

* * *

Здесь никто не делал тайны из того, что командование погранвойск пользуется услугами платных осведомителей. Распространено мнение, что сотрудничать с погранслужбой не зазорно: пограничники, мол, не менты и не кегебисты.

С похожим мнением я сталкивался и в лагере. Трудно пристыдить уголовника, если он даст на вас показания, что вы ведете антисоветскую пропаганду: «Кегебисты не менты, - возразит он, - им правду сказать не западло».

Наши пограничники имеют своих людей и в Польше, они сообщают сюда обо всех подозрительных (то есть попросту незнакомых) людях, появляющихся в пограничной зоне. Отработан и механизм расплаты с ними.

Расчеты с нашими осведомителями производятся открыто. Так, с широкоплечей тетенькой расплатился приехавший за мной старший офицер заставы подполковник Р.

Интересно, что, посадив меня в свой газик, подполковник Р. хотел тут же смыться, словно бы не замечая того, как широкоплечая тетенька изо всех сил старается обратить на себя его внимание, крутясь у окошка служебки и то и дело выбегая на крыльцо. И он бы уехал, если бы арестовавшие меня солдаты не напомнили ему, что тетенька оказала большую услугу и теперь томится в ожидании законного гонорара. Подполковник Р. поморщился, как скупой, когда у него просят деньги в долг, и пошел к тетеньке.

Когда подполковник вернулся в газик, я не удержался от замечания о том, что достойно русского офицера, а что нет. Подполковник вспылил:

- Ну и герой! Перешел ночью границу, а уже учит жить: то «достойно», то «недостойно». А знаете ли вы, что недавно здесь бандиты сожгли магазин вместе с продавщицей? Женщину, живьем сожгли! А за что? Из-за денег и тряпок! Это, по- вашему, достойно?

- Они пришли из-за границы?

- Да куда там! Свои же, литовцы. - Подполковник снова повернулся вперед: - Черт, повыпускали писателей из тюрем!..

Я откинулся на спинку сидения и удовлетворенно вздохнул. Газик скакал по колдобинам и плюхался в лужи. Мы ехали на восток. Я сидел между двумя автоматчиками, в зеркале заднего обзора подпрыгивали усы подполковника Р. Я был в России.

Декабрь 1992г., в/ч 71179

Аракадий РОВНЕР (Нью-Йорк)

ЕПИФАНИЯ

Рассказ

Я хочу рассказать о чуде, которое пережил как ребенок, т.е. глубоко и бессознательно. Это было чудо спасения и кульминация жизни моих родителей. Высшие силы решили все за нас, и в отчаянную минуту нам были явлены милость и пощада. Страшно подумать, как сложились бы наши судьбы, не приди помощь свыше. Было нечто библейское во всей обстановке и в обрисовке человеческих ролей в этом эпизоде. В минуту безнадежности и отчаяния нам - маме и мне с сестрой - отец явился спасителем и чудотворцем. И мы - его тройственная душа: мама, сестренка и я, - в свою очередь, были возвращены ему из ада.

Мой отец не воевал с немцами во Вторую мировую войну. В медицинском свидетельстве перед грозным и неумолимым заключением «годен» он вписал короткое, спасительное словечко «не». Он прекрасно знал, чего ему может стоить эта каллиграфическая виньетка. Но перспектива убивать и умирать за чуждую ему власть была еще нелепей. Он не был воином, и умер еще не старым от болезней и нервного износа.

Отец был религиозным человеком, в жизни своей никого не убившим и не предавшим. Естественно, он не хотел участвовать в общем блефе и даже притворяться как следует не умел. Он прожил свою жизнь в расселинах советского каземата, не сдавшись, и не уступил ни на йоту фальши «нормальной» жизни в царстве люмпена, живя жизнью трудной и ненормальной. Уступили сестра и мама, не вынесшие аутсайдерства, и это у них происходила эрозия отцовского мира. Сестра стала учителкой модной тогда науки физики, а мама - заядлой читательницей газет и азартной телезрительницей.

Он работал в санатории в Черновцах, когда началась война. Рано утром (не дали поспать самолеты) во двор вбежала соседка: война! Отец тотчас же бросился в санаторий, а мама начала упаковывать вещи.

В полдень приехал грузовик, полный узлов и чемоданов, и отец, закинув в кузов наши чемоданы, подсадил маму и сестренку, а потом поднял меня, годовалого наблюдателя мира взрослых. На руках у мамы, кроме меня, был алюминиевый чайник с кипяченой водой.

Мы уехали, а отец вернулся сдавать дела. Как финансово-ответственное лицо он не мог поступить иначе. Оставшись без нас в опустелом санатории (дирекцию и отдыхающих как ветром сдуло) и сделав несколько телефонных звонков, отец очень быстро убедился, что сдавать дела некому. Тогда он бросился догонять нас на санаторской машине.

Так подробно, так досконально я знаю эту эвакуационную скитальческую жизнь, эти шоссе и проселочные дороги, потоки машин, телег и пешеходов с чемоданами, рюкзаками, корзинами, узлами - а ведь мне было тогда лишь немногим больше года. Наверное, не так уж бессмысленно я смотрел на мир, сидя у мамы на коленях

и попивая воду из носика чайника. Эта стихия бескрайнего беженства - наше скитальчество длилось больше трех лет с короткими остановками в городках и селениях по пути следования и новым бегством по мере приближения фронта, - эти бесконечные перемещения на машинах, в теплушках, на телегах, на тракторах, эти вокзалы и привалы, очереди за кипятком, продуктовые карточки, обмены вещей на продукты, страх, голод, жажда, эти воздушные тревоги, самолетные обстрелы, бомбы, раненые, старики, женщины, дети, эти вши, клопы, оспа, тиф, малярия, дифтерия - все это доотказу наполнило мои первые детские годы, плотно вошло в меня и гулко переливается во мне и сегодня.

Выехав на шоссе, мы влились в поток машин, телег и пеших беженцев. Наш грузовик едва продвигался, останавливаясь каждые десять минут, попадая в бесконечные заторы, с трудом высвобождаясь из них.

Первый воздушный обстрел был до того неожидан и стремителен, что никто и не успел опомниться. Неслышно возникли самолеты и на бреющем полете полоснули по беженцам из пулеметов. Движение остановилось, люди побежали к обочинам, к кустам и оврагу справа. Ждали возвращения самолетов, но их и след простыл. Стали сползаться снова на шоссе, вспомнили о раненых. Через час суматоха улеглась, и движение возобновилось.

Потом был второй обстрел. На этот раз, едва заслышав гул самолетов, все побежали к обочине и залегли в канавы. Мама бежала со мной, сестрой и чайником. На этот раз самолеты обстреливали беженцев методично, возвращались и опять стреляли по бегущим и по лежащим в канавах. И опять кричали и плакали раненые, женщины, дети. Обстрелы продолжались весь день, вечером и даже ночью.

После одного из ночных обстрелов мы не нашли наш грузовик. Мы остались без вещей и продуктов (чайник был с нами, но деньги, часы и прочие вещи лежали в большом чемодане, который мама оставила в кузове, чтобы налегке уйти от обстрела) одни посреди степи ночью.

Вчера еще заливался пластиночный Утесов и кавалеры топтались в фокстроте вокруг санаторских див в завиточках а ля Мери Пикфорд. Вчера еще разливалась ароматом сирень на веранде, где вечерами прогуливались солидные партийный товариищи и их легкомысленные дамы. В санаторском ресторане ели венские шницели и голябки по-краковски, запивали торгсинский коньяк отечественной хванчкарой. И тело было телом, оно томилось и маялось, оно лелеяло тонкие недомогания и истому от избытка здоровья и сил. Ум услужливо выстраивал графики расчетов и плел кружева интриг, рисовал честолюбивые или пикантные картинки и не желал знать ни политики, ни классовых войн...

В конце двадцатых годов, когда отец ухаживал за мамой, он выведав у ее сестры, что ей нравится, принес ей в дар пятьдесят граммов любительской колбасы.

Как-то он пришел к ней, когда никого не было дома, и бегал за ней вокруг большого стола, а она убегала от него. Очевидно, в конце концов, он ее все-таки нагнал.

Отец был переполнен житейской мудростью, знал великое множество анекдотов и поучительных историй, пословиц и поговорок. Мальчику, он рассказывал мне, вместо сказок, библейские истории. Брата его чекисты расстреляли «за анекдот», неосторожно рассказанный, - в доме об этом говорилось шепотом и никогда не упоминалось при посторонних. Две старшие сестры моей мамы вместе с их детьми погибли в немецком лагере смерти. В доме говорили: «их сожгли в печи», и я не мог вообразить, как это двух взрослых женщин и их детей можно засунуть в печку.

Наедине и шепотом отец рассказывал мне об Америке, Европе, Израиле, о мире, понятном и родственном ему. Он просиживал ночи перед коротковолновым приемником, ловя сквозь вой и скрежет глушилок «враждебные» голоса западных станций. Ему не довелось увидеть Запад - я оказался здесь вместо него.

Мой побег из обезумевшей совдепии и мои эмигрантские скитания часто напоминают мне эвакуацию. С самолетов пока еще не стреляют, слава Богу, но состояние похожее, и люди вокруг ведут вебя так же. И та же незримая сила протягивает спасительную руку.

По мере того, как становилось темно, мама начинала осознавать наше истинное положение, и ужас стал постепенно прокрадываться ей в сердце. Это был ужас женщины, которую загораживали от жизни сначала отец, а потом муж, и которая оказалась вдруг ночью на большой дороге с двумя детьми на руках.

Я вижу эту группку - растерянную маму, цепляющуюся за нее сестру, себя и нелепый чайник на руках у мамы - на обочине проселочной дороги между ржавым картофельным полем справа и угрюмыми сараями за спиной (там мелькали подозрительные тени и откуда по временам доносились крики), эту внезапно обезлюдевшую дорогу, эту трескотню кузнечиков, эти мушиные рои и этот военный запах полыни, о котором поется в песне Андрея Зелинского.

Это был страшный час, и не вмешайся Провидение, не приди оно к нам на помощь - легко вообразить, что бы с нами стало... Но Провидение вмешалось, и рука спасения была подана. Внезапно, как от толчка, мама встала на ноги и сделала шаг вперед - со мной на руках и сестренкой рядом. В ту же минуту перед нами, взвизгнув, круто затормозил синий газик, открылась дверца, и из машины вышел отец. Не говоря ни слова, он усадил нас на заднее сидение, сел рядом с шофером, взяв чайник к себе на колени, и машина поехала.

Понимал ли отец, что собственно, произошло? Знал ли он, какая сила привела его на именно эту проселочную дорогу, одну из сотен, на которые сползали беженцы с запруженного и обстреливаемого шоссе? Думал ли он о том, чей расчет был за этой непостижимой встречей, понимал ли он, что произошло, или же ничего не заметил, приписав все себе, своей собственной ловкости и везучести? Догадывался ли он, что это была кульминация всей его жизни, пик красоты и силы, когда он унес из пасти дракона жену и детей.

Под конец жизни, когда отец, забывающий имена и проезжающий свою остановку, безнадежный и растерянный, отходил от деловых неудач в купленном им ненужном доме с террасой и садом, мама и сестра смотрели на него как на симулянта. Я же, поглощенный своими молодыми заботами, не находил для него времени...

Он часто приходит ко мне во сне. Первый раз он пришел вскоре после смерти. Я увидел его в ногах моей постели небритого и усталого. Я так обрадовался ему, что даже проснулся. И он, благодарный мне за мою спонтанную радость, успокоенный, отошел.

Последнее время он появляется буднично и тихо. Он молча сидит на кухне, боясь обременить. Потом исчезает надолго. Где он живет, чем он занят - я как-то не успеваю его об этом спросить. Он стал ненавязчивой тенью, необременительной частью меня самого. Я стал очень похож на него, каким я его помню.

Мы живем в своих детях, как наши отцы живут в нас. Я прожил жизнь моего отца, а теперь я живу в сыне, в его разочарованиях и надеждах.

Два слова «эвакуация» и «эмиграция» наполнили собой начало и середину моей жизни. Каким словом будет обозначено ее окончание?

Рахель ТОРПУСМАН (Иерусалим)

КАК МЫ ГОТОВИЛИСЬ К ВОЙНЕ

Война должна была начаться во вторник вечером. То есть в среду, после полуночи. То есть могла начаться. А могла и не начаться. Никто не знал, что будет. Сейчас-то мы знаем, что первая тревога была в ночь на четверг, а первый обстрел - в ночь на пятницу, и что эта война уже давно кончилась. А тогда никто ничего не знал, и весь мир сходил с ума. Кто больше, кто меньше. Мы меньше. Наши родственники в Союзе - больше. Тогда это еще было Союзом. (Буш, наверно, тоже больше. А Саддам, наверно, меньше.) Армии готовились к войне, а продавцы клейкой ленты делали деньги. Ну и черт с ними. А к нам пришла Сара Коэн и сказала, чтоб мы вечером приходили разгребать миклат. Убежище, а попросту говоря, подвал с тяжеленной дверью. Этот миклат никогда раньше по назначению не использовался. Потом, правда, тоже не использовался, но мы тогда этого не знали. Так вот этот самый миклат был заставлен и завален всякой рухлядью, и эту рухлядь нужно было вытащить, чтобы в миклате могли поместиться все жильцы. В случае необходимости. Это все было во вторник утром. Мы сказали, что придем, Сара Коэн ушла, а мы пошли заклеивать комнату и тем самым превращать ее в хедер атум. По радио говорили, что во время атаки нужно сидеть в хедер атуме, но не возле наружной стены и не против наружной стены. Анекдот заключался в том, что в нашем будущем хедер атуме три стены были наружными. Мы махнули рукой и заклеили окна. Потом пошли в магазин («... в загерметизированной комнате следует иметь запас еды...») и встретили соседа Герцля. Мы спросили, заклеил ли он уже свою комнату. Герцль потряс нас, сказав, что ничего заклеивать не собирается, потому что «все в руце Господней». Герцль, хмурый и невезучий парень из Ирана, имел когда-то, по собственному признанию, неприятности с полицией и головы сроду не покрывал.

И вечером мы уже собирались было спускаться разгребать миклат. Другие уже работали, а мы еще как-то не совсем собрались. И вот, когда мы уже совсем было собрались, пришел муж Сары Коэн и сказал, что в миклате лежат снаряды и их сейчас будут взрывать, и поэтому все должны выйти на улицу. Мы стали

одеваться, и тут снова кто-то постучал и сказал, что нет, взрывать не будут, ложитесь спать. И дети пошли уже было спать, и тут постучали в третий раз и сказали, что взрывать все-таки будут и чтоб мы выходили. Мы вздохнули, подняли детей, оделись и вышли на улицу. Вы помните, это было 15 января. Дождя, слава Богу, не было, но холодно было. Нам показали, что нужно подняться наверх и отойти подальше от дома. Вместе с нами вышел Сами Махфута со всеми детьми, причем младшего вытащили из постели и так и несли на руках, в пижаме. Я сказала : «Господи, что они делают, ноги голые!» - и полезла укрывать его своей курткой. «Не надо, не надо!» - сказал Сами, но куртку взял. Мы поднялись по всем ступеням и вышли на шоссе. Там уже стояли люди и из нашего дома, и из соседнего. Опирались на металлическую ограду и ждали взрыва. Там нам наконец объяснили, откуда взялись эти снаряды. Их привез с Ливанской войны какой-то деятель, который в нашем доме уже лет пять не жил. Странно, что они до сих пор не взорвались. В качестве сувенира. Он бы еще танк привез. Мне тут же рассказали, как чей-то знакомый приехал в отпуск из армии на танке. Я начинала потихоньку замерзать, а Сами с компанией куда-то исчезли. Дочка мужа ехидно сказала: «Они же пошли ночевать к родственникам, в тринадцатый дом. Будешь знать, как куртками швыряться». А люди все подходили. Мирьям Лапид пересчитывала своих детей: «Ей-Богу, кого-то не хватает, только кого?» «Мама, все здесь!» - отвечала дочка Эмуна. У них тогда было тринадцать детей, Асаф потом родился. Тут оказалось, что в квартирах еще остались какие-то русские, которые не понимают иврита. Муж побежал переводить. Один из лапидовских мальчиков предложил мне свою куртку. Я отказалась. Солдаты наконец приехали. Несчастные старички, не понимавшие иврита, наконец вышли и присоединились к нам. «Господи, вот кого не хватает - Мошика!» - закричала Мирьям и побежала в дом. Шалом снова предложил мне куртку, и тут я ее уже взяла. Дети играли в салочки. Бедная Мирьям вернулась с Мошиком. Наконец за домами бабахнуло, но не так чтобы уж очень сильно, можно было и не выходить. «Ну слава Богу, взорвали!» - сказали все. Мы пошли по домам, и тут я услышала возмущенный голос десятилетнего сына Сары Коэн: «Я же маме говорил, это не снаряды, это пустые оболочки, нечего было их взрывать! Я же с ними двадцать раз играл, я маме говорю, а она говорит: мальчик, не путайся под ногами!» Мы вернулись домой и остаток ночи проспали спокойно. Первая тревога была только в следующую ночь.

(«Пятница», Тель-Авив. Август 1992)

■

Михаил Синельников

О Параджанове, богатом и старшем...

Почти все удавшиеся выставки обязаны своим успехом умелому отбору. Но с экспозицией работ Параджанова система кажется невозможной, его работы как будто подчинены закону древнекитайской эстетики: «Хаос - основа композиции». Великолепные вещи не хотят стать нумерованными экспонатами. Они просятся в кучу, где громадные живые гранаты лежат на бронзовом блюде, где перстни и ожерелья, сапфиры и стразы осыпали гобелен, придавленный папками и тетрадями, сценариями и эскизами, коллажами и монетами, самоцветным мусором черепков и осколоков. И завис надо всей кучей коробящийся, складчатый, рушашийся потолок, подобный рваному киноэкрану.

Среди огней вернисажа не хватает этой тбилиссокй халупы, заполненной завороженными людьми и волшебными куклами, сделанными из тюремной рогожи ... Люди (порою среди них - самые талантливые современники) поистине зачарованы, околдованы неторопливой речью «кукловода»-хозяина. Часами длятся эти чары, и стоит пожилому факиру выйти из комнаты на минуту, как иссякает воздух и гости валятся на бок - тряпичными куклами. Цари во все времена страшились таких чародеев, чье царство «не от мира сего». Параджанов сидел в тюрьме при Хрущеве, сидел при Брежневе, сидел при Андропове. Окружали его в камере самые страшные, отпетые преступники, злодеи, чуть не людоеды. Происходившее вокруг бывало так ужасно, что человек, который по природе своей был весь чудо зрения, завязывал себе глаза, чтоб ничего не видеть. Тем не менее увидел он многое. Тюремный опыт - опыт отрицательный, как засвидетельствовал Варлам Шаламов. Конечно, тюрьма резрушила здоровье Параджанова, и, надо думать, сократила его век. На годы лишила привычного рабочего инструментария, но все-таки не прекратила творчества. Почему-то вспоминается купринский искалеченный Сашка, вернувшийся в родной «Гамбринус», загубленный скрипач, весело заигравший на окарине. Сравнение, разумеется, далекое и грубое. Параджанов - мировой артист, всесветный маэстро, а не музыкант из одесского подвала, и все же, все же что-то общее как будто есть. Желание вопреки всему остаться художником, показать, что можно и голыми руками делать искусство. И вот - эти куклы, сделанные из дырявого сахарного мешка; носовой платок, превратившийся в «плащаницу»; самодельные маки и открытки; кефирные крышечки, ставшие благородно-тусклыми дукатами, дублонами и цехинами... «Я пошлю их Кобе Гуругли и другим нашим чеканщикам, которые запрудили всю Грузию своими писающими младенцами».

Творчества, хотя бы самой малости творческого усилия он ждал и требовал от всех встреченных. Вселял в них неизъяснимые импульсы. Так он просил рисовать своих соседей по камере и собрал весьма замечательную коллекцию созданных ими портретов. Один молодой убийца и насильник заявил, что лицо нарисовать не может, а может ногу... Никогда не забыть той потрясающей ступни, словно мастером высокого Возрождения нарисованной. Кстати, не автором ли «Записок из Мертвого дома» замечено, что в тюрьме находится лучшая часть русского народа?

Возвращение Сергея Параджанова из второго (кто бы предвидел, что впереди еще третья тюрьма!) заключения потрясло видавший виды Тбилиси. Серые волки ели, но не съели Параджанова. Он не должен был уйти живым из узилища, но вытащенный из самого ведьминого котла именитыми западными заступниками, вернулся в свою ободранную комнату триумфатором. Грузины и армяне, Тбилиси и Ереван, соревнуясь, восхищенно несли ему дары. Параджанов отвечал ювелирными изделиями и коврами, новыми сценариями, фантастическими тюремными повестями, замыслами и вымыслами. Конечно, он был великий враль. Но в поэтичнейшем, возвышенном смысле. Какая-то была в мелодическом упрямстве его речей неутомимая любовь к прекрасному. Неутолимая жажда красоты, пересилившая обыденность. Так упоенно живописал пиры Гелиогабала латинский историк Элий Лампридий, так пылко, продвигаясь от сказки к сказке, звучал голос Шахразады...

Однако щедрость художественной лжи сочеталась с особой чуткостью к художественной истине. О жизни, самой неизменной и физиологичной, он говорил, не зная страха, с откровенным, но и каким-то одухотворенным бесстыдством. Кто мог быть ему судьей! Тем более, что так бы говорил он и на Страшном суде, - невыразимого обаяния многогрешный и святой старик с благородной сединой, широкой улыбкой, бесконечно печальными глазами. В нем воплотился упорный гений древнего народа, не одну скалистую гору превращавшего в храм и выносившего из недр все «лишнее» по песчинке. Зодчество могучее, дающееся мукой и потом, кряжистое, жмущееся к земле, не отдающее земли. Земное, земное и - с мыслью о небе. Как сказано одним русским поэтом: «Но люблю эту бедную землю, оттого, что иной не видал».

И он был сыном великого, «многонародного», космополитического города, старого Тифлиса, где, бывало, в храмовый праздник под водительством старейшины-устабаши шли рати мастеровых, осененные цеховыми знаменами. Рожденный, чтобы стать устабашем, мастером, организатором цеховых празднеств, общегородских, всенародных мистерий, и - попавший в двадцатое столетие, Параджанов выбрал кино, которое стало его судьбой и главным поприщем. Но этим выбором, этим поприщем его потенциал далеко не был исчерпан.

Над Площадью Героев в Тбилиси высится сияющее (впрочем, сиявшее тогда), монументальное здание, округлыми очертаниями несколько напоминающее Замок Святого Ангела в Риме. Непосвященным, тем, кто приехал сюда впервые, мнится, что это - Совет Министров или Верховный совет. Но это - цирк. Помещение прекрасное, а показать в нем, собственно говоря, нечего. Параджанов пришел в дирекцию с восхитительным проектом: все помещение изнутри, весь купол обить черными «клеенками» Пиросмани, создать труппы дресссированных слонов, носорогов, жирафов и, наконец, буйволов (вот уж истинно грузинское цирковое животное, если вспомнить фольклорных быков Нишу и Никору)! Параджановский проект потрясенная администрация одобрила, но глаза на лоб полезли, когда была представлена смета - семьдесят миллионов!

На годы главным аттракционом, а говоря серьезно и возвышенно - объектом паломничества, Меккой и Мединой для приезжих, сколько-нибудь причастных к искусству, стал дом Сергея Параджанова. Случалось в параджановском доме бывать и автору этих заметок. Повертев в руках мою первую книгу стихов «Облака и птицы», Сергей Иосифович посмотрел мне в глаза и предложил кольцо с бриллиантом - подарок. Мое равнодушие к этому предложению учел, запомнил и переключился на обстоятельные тюремные и детские воспоминания...

Встречи с Параджановым, небесследно прошедшие разговоры с ним - значительное событие в моей жизни. Он был один из самых талантливых людей, в этой жизни встреченных. Может быть, самый талантливый. Сергей Иосифович был неизменно добр, откровенен, сердечен, щедр, верикодушен. Нет причин переоценивать степень близости. Многие хотели видеть и слышать Параджанова, многие приходили чаще меня. Иное дело, что Параджанов довольно ровно относился к своим современникам, заинтересованно и благожелательно созерцая обтекающий его многоликий поток человечества. «В многолюдном своем одиночестве», - как сказала о Параджанове одна (увы, покойная) грузинская поэтесса.

Тут все дело, видимо, в том, что Сергей Иосифович, подобно герою притчи Лескова, считал для себя самым важным человеком именно того, с кем он разговаривал вот в это текучее, неповторимое мгновение.

Великолепие артистического беспорядка обычно не сочеталось в этом доме с пышными пирами, столь в Тбилиси традиционными. Столы, кажется, не часто накрывали. Бутылка вина бывала, но обыкновенно подавался крепкий чай. Помню такую параджановскую фразу: «Как говаривал мой отец, - имей в доме чай и миндальное печенье, и будешь богат!»

У еврейского актера Соломона Михоэлса была классификация людей по двум признакам: с одной стороны, человечество делилось на «старших» и «младших»; с другой - на «богатых» и «бедных». Речь идет только о самосознании...

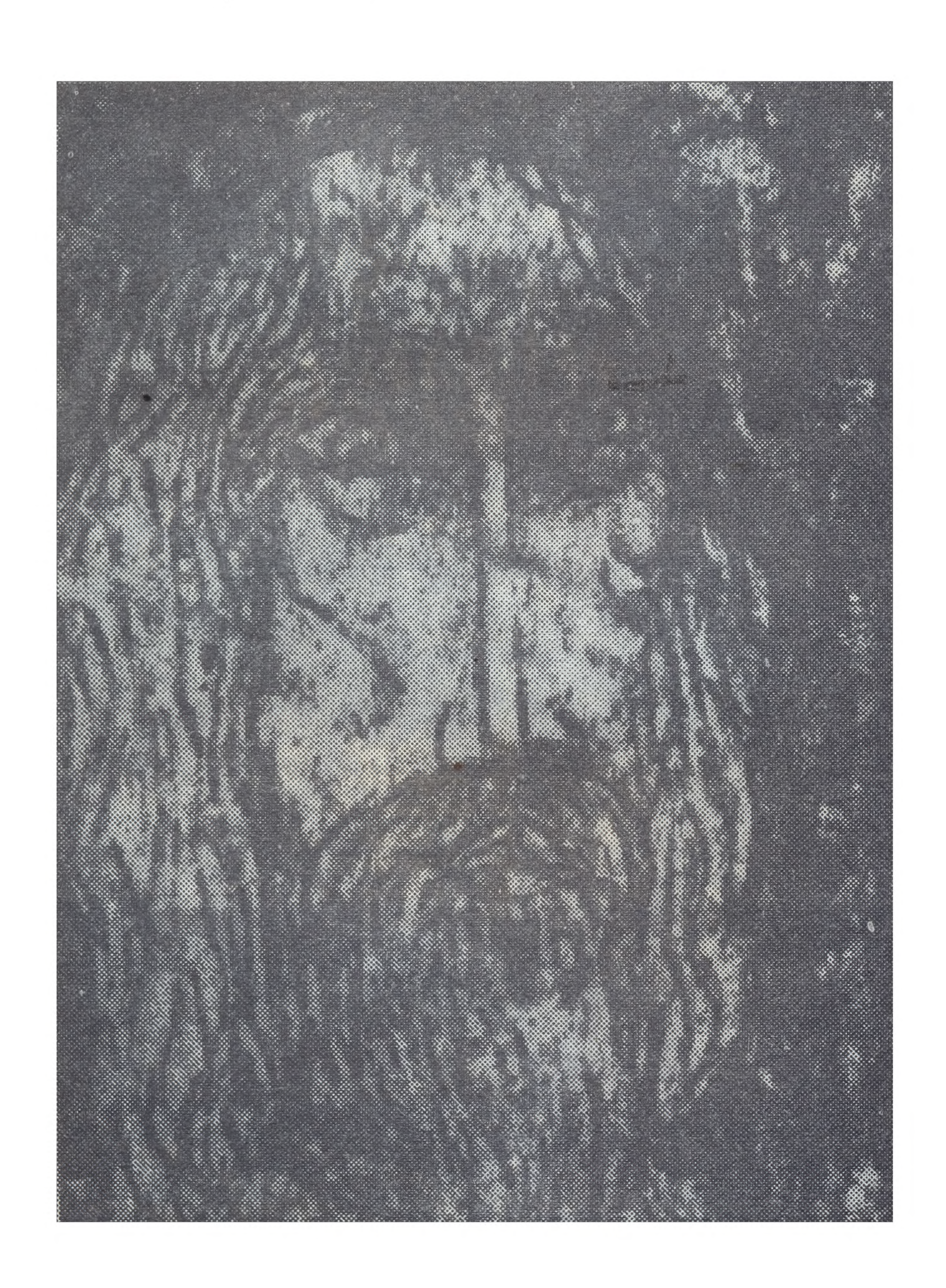
Думаю, что по натуре Параджанов был «старшим». И уж несомненно он был очень «богат».

Сергей ПАРАДЖАНОВ. «Марки» из зоны. 1977-1978.

1. Вазген I
2. Леонардо да Винчи
3. Ираклий I
4. Давид Гурамишвили
5. Нико Пиросмани
6. Алисия Алонсо
7. Александр Довженко
8. Василий Шукшин

Редакция благодарит Завена Саркисяна и Карена Микаэляна из Музея С.Параджанова в Ереване за то, что они разрешили познакомить наших читателей с этими рисунками (в оригинале они размером со спичечные этикетки), а также фотокорреспондента ИТАР-ТАСС Александра Яковлева - за репродукции работ.

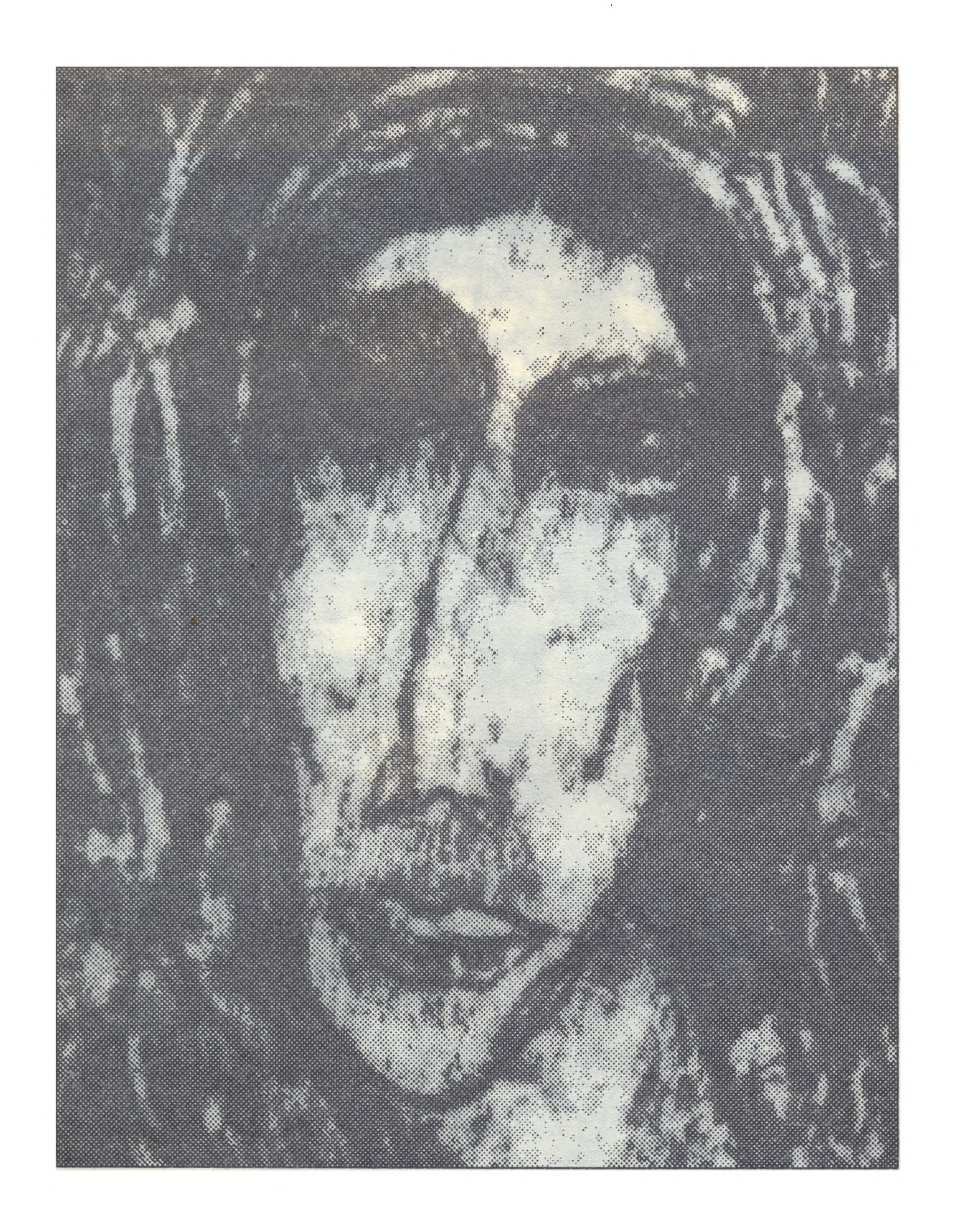




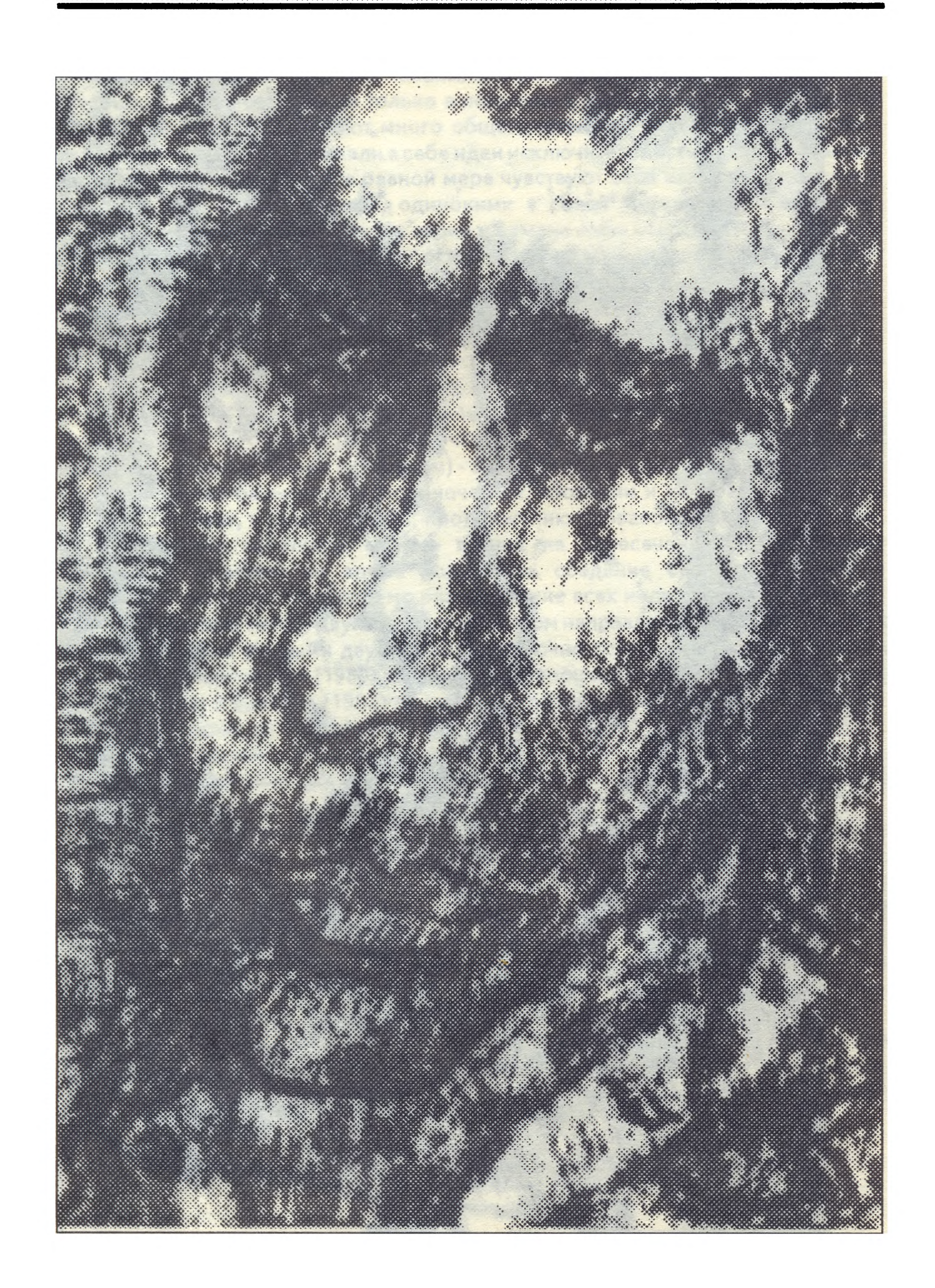












МАРК НШАНЯН

(ПАРИЖ, СОРБОННА)

ЛИТЕРАТУРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

От переводчика

В 1914 году в Константинополе было создано литературное объединение «Мехиан» (капище, языческий храм), в состав которого входили видные армянские деятели культуры (Д.Варужан, А.Ошакан, К.Зарьян, Р.Севак, Г.Барсегян и др.), издававшие ежемесячный журнал «Мехиан».

Национальное становление, преодоление «разрозненности нашего (национального) существования» - в этом они видели свою главную задачу. Само название «Мехиан» уже указывало путь преодоления - «восстановление языческого храма», возврат к язычеству в литературе. Не слишком ли наивно - ведь речь идет о национальной задаче? Почему язычество? Определяется ли «возврат к язычеству» лишь эстетической ориентацией?

В предлагаемой лекции французского литературоведа и философа армянского происхождения Марка Ншаняна делается попытка детального анализа деятельности «Мехиана», в результате чего вопросы приобретают совершенно иное звучание.

Актуальность этой лекции сегодня обусловлена прежде всего постановкой вопросов. Тогда, в 1914 г., как и сейчас, армяне ощущали надвигающуюся Катастрофу. Поколение «Мехиана» было склонно искать причины Катастрофы внутри армянства и, что особенно важно, вне политики. Сегодня мы все еще не способны сделать то же самое.

Очевидно, что поколение «Мехиана» прежде всего проанализировало исходную позицию - то состояние, в котором находилось армянство, безотносительно к политической ситуации. Это потребовало разрушения мифических представлений о самих себе. «Разрозненность нашего существования» - неоспоримый факт для них. Как замечает М.Ншанян, речь здесь идет об отсутствии *собирательной* способности, об отсутствии собирательного начала. Привычный постулат о том, что мы - целостность, мы - нация, подвергается, таким образом, сомнению. Для того, чтобы «направить к целостности» это разрозненное существование, они обращаются к «вере наших дедов», язычеству и... отказываются от идолопоклонства. Идолопоклонство - спасительное средство для того, чтобы выжить после Гибели, один из возможных путей выживания. Ведь остается спасительная идея, остается символ; следовательно, существование продолжимо и таким образом исправляется Катастрофа. «Мехиан» постулирует разрозненность существования, «катастрофу, наступившую прежде истинной Катастрофы». Катастрофа потому неотвратима, что

собирающего начала больше нет. Катастрофа потому неисправима, что ей предшествует другая, причины которой - внутри нас. Что означает неисправимость? Неосуществимость замысла, пути становления? Но был ли он, этот замысел, существовал ли путь? Неисправимость означает, что собирающего начала больше нет? Религия утратила собирательную способность. Здесь не имеется в виду христианская религия. В таком случае что же? Своим ответом М.Ншанян лишь замыкает круг: «Религия - иное название собирательного начала». Собирательное начало армян исключительно религиозно. Как это понимать? Анализ только одного времени ответа на этот вопрос дать не может. Сопоставление различных времен - скажем, времени «Мехиана» с сегодняшним - возможно, укажет пути поиска.

Лекция о «Мехиане» была прочитана М.Ншаняном в августе 1985 г. в Летней школе конгрегации Мхитаристов в Венеции. Год спустя лекцию опубликовал армянский аналитический журнал «КАМ» («GAM Revue», No3-4, Paris, 1986); автор снабдил текст дополнением, перевод которого и предлагается вниманию читателей «Ноя». Необходимость снабдить лекцию дополнением была обусловлена следующим популярным тезисом: «Если бы в конце XIX в. лучшие силы армянской интеллигенции уделяли меньше внимания литературе и искусству и больше - политике, то,возможно, армянам удалось бы избежать Катастрофы». Этот тезис, следуя М.Ншаняну, мы будем называть «возражением». Кавычки здесь не отражают отношение автора или переводчика к самому тезису, но добавлены лишь во избежание возможных недоразумений.

Дополнение к лекции является по существу ее резюме и там, где краткость изложения может привести к недопониманию, мы добавили при переводе поясняющие отрывки из самой лекции, перевод всего текста которой вряд ли был бы оправдан - не только из-за ее большого объема, но и из-за специфики читательской аудитории, вниманию которой предлагается указанный материал.

* * *

1. Целых два поколения на протяжении 25 лет занимались политикой; начиная с 1890 года, т.е. с тех пор, как гонения приобрели отчетливое выражение, лучшие силы нации были отданы политической деятельности. А.Ошакан именует это своего рода катастрофой, происшедшей прежде истинной Катастрофы.

2. А.Ошакан имеет в виду саму суть разлома, взрыва основания, взрыва, следствием которого явилось наше изгнание, удаление от центра, от земли, от религии наших дедов. Д.Варужан также возвращается к этой теме, в письме к своему знакомому Д.Чизмечяну он пишет: «К нашим дедам! Что означает - к нашим богам!». Если здесь и идет речь о возвращении, то о возвращении именно к разлому и удалению, но не к восстановлению исчезнувшей религии. Для Варужана, равно как и для Ошакана, такое возвращение возможно лишь в лоне искусства. Оба, однако, говорят нечто противоположное сформулированному выше «возражению». Ошакан пишет: «Для того, чтобы стало возможным направить к обретению целостности наше разрозненное существование, нам следует дождаться своего Данте. Перед нами толпа -

оборванная, изгнанная со своей земли, удаленная от своего центра, от своей религии, оматериализовавшаяся в пресмыкательстве бесцельного бродяжничества, безымянная, бестелесная...» Этим высказыванием невозможно пренебречь. Принимаем мы его или нет, нам следует прежде вникнуть в его смысл, постичь его глубину и объемность. Относится ли «нецелостность существования» к многообразию говоров или к географическому распылению? Нет, конечно. Очевидно, что это - явление второстепенное. Речь идет о собирательной сущности. Здесь постулируется необходимость самостановления. Оно необходимо для того, чтобы привести народ к целостности, собранности в одно целое, для собирания разрозненного. «Разрозненность» в свою очередь не относится к существованию различных группировок, это не есть политическое явление. Самой собирающей способности нанесен ущерб, она повреждена изнутри. (Само)становление творческой личности должно (вос)создать способность собрать разрозненное, помочь обрести целостность нецелому. Иначе народ превращается в толпу. Случилась катастрофа прежде Катастрофы. И разрушила все до основания, разбросав обломки, удалив от центра. Какова же цель поколения Литературного Становления, декларируемая в программном манифесте «Мехиана»? Возвратить центру удаленных от него? Конечно, нет. Возвратить земле, религии превратившийся в толпу народ? Конечно, нет. Ответ их поразителен: «Единственно возможный шаг против раздробленности и бесцельного блуждания - становление человека искусства». Становление человека искусства - единственное, что можно сделать, когда уже закончилось время религии. Ошакан не имеет в виду, конечно, христианскую религию. Здесь религия есть лишь иное название организующей собирательной способности, того, что изначально было. Потому существование разрозненно, что мы изгнаны, удалены от религии наших дедов. Теперь лишь искусство способно собрать обломки разрушенного религиозного основания.

3. Очевидно, однако, что упомянутое «возражение» и пара Варужан-Ошакан говорят о разных вещах. Согласно тезису «возражения», Катастрофа была принципиально предотвратима. Кажется, однако, что для Варужана и Ошакана Катастрофа неотвратима, в своем роде абсолютна. Это абсолют. Приняв во внимание их литературную программу, есть от чего придти в замешательство. Повесть Ошакана становится возможной лишь тогда, когда мир разрушен. Но разрушен не в смысле реальной действительности, а когда в нем разрушено нечто, что требует и диктует необходимость ве́сти, по́вести, эпоса. Так и программа Варужана состоит не в том, чтобы оживить умерших богов, но в том, чтобы оплакать их смерть, возвестить о ней. Здесь литература не есть служение прекрасному, но лишь возвещение о Гибели. Искусство начинается там, где произошла Гибель, и потому, что она произошла. И если быть более точным - искусство начинается для того, чтобы Гибель про-изошла, ибо как мы узнаем о ней без свидетельства искусства? И прежде, чем быть служителями прекрасного, люди искусства должны стать стражами Гибели.

4. Что больше всего вызывает в нас удивление, а значит, и сделается постановкой вопроса, так это то обстоятельство, что искусству вменяется

возвещать о Гибели. Это по меньшей мере должно пробудить в нас сомнения и вернуть к осмыслению понятий искусства и Гибели. По-видимому, Гибель не есть лишь осквернение жилищ, зверские убийства людей, разрушение земли как материи. Это целостная реальность, которую невозможно отвергнуть, но под ней кроется нечто, что пока еще не имеет имени, не названо.

5. С точки зрения тезиса «возражения» Катастрофа мыслится предотвратимой, исправимой. При этом исправление понимается всегда в политическом контексте. И не только исправление, но и сама сущность Катастрофы. Поколение же «Языческого храма», вызвав к жизни новое, глубокое и чудесное чувствование священного, пытается не исправить Катастрофу, а освятить ее.

6. Опыт «Языческого храма», осознание этого опыта не препятствуют политическому процессу. Не их деятельности, да и вообще не деятельность людей искусства ответственна за то, что оказались тщетными усилия, направленные на достижение политической свободы. И в частности, поколение «Языческого храма», в отличие от многих других, никогда не отвергало идей политического освобождения.

7. Поколение «Языческого храма» пыталось противостоять Катастрофе. Они, эти люди, были стражами Катастрофы. Стражами последней ночи. И поэтому повествуемая Ошаканом последняя ночь стала столь волнующей и столь важной для нас. И поэтому «ни толики слабости» нет в его воспоминаниях.

8. Ничто не могло предотвратить Гибели - и она произошла. Она должна была произойти как Гибель - богов и как Завершение - их всевозможных воплощений народу, ибо существовало Порабощение. Порабощение это не измерить богатством и знаками отличия нашей знати внутри империи. Ошакан пишет: «Орден какого-нибудь армянского паши - цена разрушенной на нашей родине деревни». Разумеется, речь идет лишь о последнем периоде, когда «рожденное землей, ею защищенное, ею обусловленное соседство» (армян и турок) превратилось в «жгучую ненависть, ставшую отличительной чертой всякого турка». Движение началось там, и невозможно было его остановить, ибо то был историко-политический процесс, не зависевший от воли людей, в него вовлеченных. «Турки осовременивались, - пишет Ошакан, - им была еще незнакома государственность». И на пути осовременивания, на пути огосударствления, освободившись от пут своего рабства, они добрались до оснований порабощенного народа и разрушили его до основания. Поколение «Языческого храма» считало, что в результате рабства организующей способности народа был нанесен ущерб. Это поясняется утверждением об утрате способности мистифицировать. А следствием является призыв (к себе более, чем к другим) к воссозданию способности мистифицировать. Порабощение достигло высшей точки, а мы все еще не имеем вести о нем, живем так, будто ничего не произошло. Лишь поколение «Языческого храма» смогло выявить, сделать явным достигшее наивысшей точки Порабощение. Помешать ему оно было не в силах. Как и никто другой. Вопрос, следовательно, ставится так:

сделать Порабощение явным означает создать ему противовес. Иначе как объяснить слова Ошакана о том, что литература есть высшая (в смысле противостояния Порабощению) форма самоопределения? Целое поколение мыслило это высшее лишь в эстетических категориях. Здесь присутствует категоричность, и это следует прежде принять и лишь затем пытаться анализировать.

9. Эстетика языка, выдвигаемая этим поколением («Языческого храма») как требование времени, обязательно отправляет нас к народным говорам, к народному повествованию, сказке, песне, мифу, к тому что Ошакан именует общим названием «живая литература». Что делает живая литература? Образует, творит образы. Создает даже, как и всякий миф, образы богов, нечто, что было скрыто на протяжении веков, т.к.Церковь, по утверждению Ошакана, обладала тайной трансформации живой литературы. Несомненно, живая литература не была ею высвобождена как мистификация божественных образов, - напротив, Церковь пыталась растворить ее в купели своей вечности. Лишь литературе в последний миг удалось сотворить это высвобождение и обратиться к мистификации божественных образов. В последний миг, когда все уже было кончено, когда рабство достигло наивысшей точки, когда отцы уже умерли и Город «овдовел». Вот как выразил это Варужан, обращаясь к Вахагну: «Тебе отдал //все то, что враг забыл// в Аштишате овдовевшем,// и вот, последний из рода Вахуни я,// склоняю трепетно колени пред алтарем твоим». И целое поколение вот так говорило о Завершении. Человек искусства, в данном случае - поэт, обращается к мистификации божественного образа, и обращается после Завершения.

10. Читать их - значит подобно им выражать свое отношение к Завершению. Не жить так, как будто ничего не было, будто все поправимо, исправимо и не свято. Не осквернять еще раз смерть наших отцов, считая даже эту смерть исправимой, пытаясь и ее откорректировать. Ошакан говорит : «Спасти Катастрофу от времени». Это не означает спастись от Катасрофы. Не означает также спасти ее от Забвения. А означает спасти, высвободить затаившуюся в Катастрофе Гибель как рождение нового времени, нашего времени.

Перевод с армянского Мартина Мартиросяна (Ереван)

Михран Бохосян (Болгария)

С дней конницы Крума до нынешних дней...

В центральном зале Национального исторического музея в Софии есть каменная плита с надписью хана Крума, - в ней вспоминается военачальник Вардан, который внес вклад в победу болгар. Вардан - имя, встречающееся только у армян. Неужели в IX веке в Болгарии жили армяне? Возможно, это прозвучит высокопарно, но оба народа живут в мире и соседстве много веков, а поселились армяне на нашей земле в незапамятные времен.

Первые поселенцы-армяне появились на Балканском полуострове в V в., когда византийский император Лев I переселил сюда два знатных рода из династии царей Аршакидов (Аршакуни). В 601 г. император Маврикий, преследуя еретиков-павликиан, изгнал их из Армении в Восточную Фракию. Массовое переселение имело место и в VIII в. при Константине V. В IX в. армянских еретиков-тондракийцев преследует Иоанн Цимисхий, беженцы обживаются в районе Пловдива и на севере Болгарии. Павликане стали как бы запалом к мощному взрыву богомильства. Вот с тех давних времен и известны такие названия поселений, как город Павликени, села Армените, Арменковци, Эрменкей и др.

Армяне играли заметную роль в Византии, из их числа вышли императоры, полководцы, ученые, патриархи (например, Фотий и Лев (Левон) Математик - учителя Константина-Кирилла Философа; наш прсветитель, представ перед духовным судом папы римского, защищая созданную им славяно-болгарскую азбуку, сослался на армян, давно уже обретших письменность и славящих Бога на родном языке. Многие сведения о древних болгарах сообщает армянский историк Vв. Мовсес Хоренаци и более поздние хронисты.

Величественно материальное свидетельство армянского присутствия - древняя Бачковская обитель, основанная в 1084г. братьями Бакурян - князьями, находившимися на службе грузинского престола и направленными в качестве военачальников в Византию, которая передала им крепость Петрицон. Те, кто оспаривает национальность братьев, забывают тот факт, что византийская хронистка Анна Комнина прямо называет их армянами. Давно уже идут споры и о происхождении болгарского царя Самуила. Проф. Йордан Иванов,

ссылаясь на армянского историка X-XI вв. Асохика и др. источники, еще десятилетия назад уверенно заявил, что этническое происхождение Самуила имеет армянские корни.

Новая волна армян переселяется в Болгарию после падения Анийского царства (XIв.), а также в XVIIв. - из Армении и Крыма. И везде, где они обживаются, армяне строят церкви, школы, организуют общественную жизнь.

«Жалуйся армянскому попу» - это крылатое выражение, которое ныне звучит иронически, идет из Диарбекира, где в крепости томились бунтовщики-болгары. Они находили сочувствие у местных армян, а диарбекирский священник-армянин, имевший влияние на турецкие власти, весьма облегчал участь узников.

В эпоху Болгарского возрождения болгары и армяне подвергались одному гнету - и национальному, и духовному, что еще больше сроднило оба христианских народа. Газета П.Славейкова «Гайда» печаталась в типографии Дивитчяна в Константинополе; там же, в типографии Бояджиняна и Арамяна издавались болгарские книги и учебники. В борьбе за религиозную свободу болгары нашли поддержку только у армянского духовенства, а после образования болгарского экзархата значительную помощь ему оказала армянская епархия в Константинополе.

Армяне всегда испытывали чувство признательности к народу, который приютил их после изгнания из родных мест. Эта признательность нашла яркое выражение в великодушном поступке гражданина Пловдива Хачера Вартазаряна, которому удалось спасти от турецкой виселицы 17 повстанцев из Перуштицы, участников Апрельского восстания. Карапет Такворян, также из Пловдива, спас жизнь другим обреченным повстанцам. А подвиг телеграфиста Ованнеса Сваджияна! В первый день 1878 г. он спас жителей Пазарджика, с риском для жизни скрыв текст телеграммы главнокомандующего турецкой армией, приказавшего уничтожить все население города. Такой подвиг совершил и телеграфист Еранос Ераносян, спася население Каварны от резни отступавшей османской армии, но сам геройски пал в бою.

Вскоре после освобождения Болгарии здесь находят прибежище тысячи беженцев, спасшихся от резни 1894-1895 гг., организованной султаном Абдул-Гамидом. Об их горькой участи - стихотворение Пейчо Яворова «Армяне». Новая, еще большая волна армян, хлынула в Болгарию из Турции в 1915-1922 гг.

Обживаясь на новой родине, армяне занимались обычно ремеслами и мелкой торговлей, они привносят новые технологии и стили в ювелирное, ткацкое, обувное дело, налаживают производство штампованного текстиля, а в Панагюрище Ованнес Бохосян открыл в 1893 г. первое в Болгарии производство персидских ковров ручной работы. Три года спустя Мартирос

Куруян вырастил (первым в Болгарии) в районе Асеновграда шелковичный кокон, положив начало производству шелка. А лучшие сигареты делали на табачных фабриках Томасяна, Тютюнджяна, Дердеряна. В начале XX в. некоторые болгарские и армянские земли все еще находились под ярмом поработитетелй. Общая участь и общая цель рождают идею об общей борьбе. Армянские революционеры используют опыт болгарского освободительного движения, учатся военному делу. Армянские юноши активно участвуют в македонско-одринском движении. Немало подвигов совершил отряд Бедо Серемджияна и Славы Мерджанова, казненных в 1901 г. возле Одрина.

Новую славную страницу армяне вписали в годы Балканской войны, прежде всего герои Гарегин Нжде и Андраник Озанян, возглавившие отряд из 273 добровольцев. В Балканской войне, в первой мировой и других войнах, которые вела наша страна, отличились полковники Бохос Бохосян и Габриэл Бояджинян. Конечно, немыслимо назвать все славные имена, все достижения и все заслуги армян в Болгарии, но трех деятелей культуры назову. Скульптор Григор Агаронян. Родился в Тифлисе. Почти двадцать лет работал в Болгарии, потом репатриировался в Армению, оставив нам прекрасный портрет Яворова в Борисовом саду и другие прекрасные работы.

Натан Амирханян (Князев) - дирижер, композитор, органист и педагог, один из первых дирижеров Софийской оперы, создатель опер «Иванко», «Ралица» и песен на стихи Христо Ботева.

Проф. Александр Балабанов - ученый, переводчик, журналист, литературный и театральный критик, безусловно, одна из самых ярких и крупных фигур болгарской культуры.

Точное число армян в Болгарии назвать трудно. До второй мировой войны их насчитивалось около 35 тысяч. В 1946 г. почти пять тысяч репатриантов уехали в Армению. Увеличилось число смешанных браков, хотя их и раньше было немало, ибо между армянами и болгарами никогда не было религиозных или этнических предрассудков. По приблизительным данным сейчас в стране 22-25 тыс.армян. Самые многочисленные общины в Пловдиве, Софии, Варне, Русе и Бургасе.

Пер.с болгарского А.С.

«Труд» (София). 9 и 10 июня 1991 г.

Михаил ЭНТИН (Ньюпорт, США)

Берегите евреев императора!

Обычному японцу встречаться с евремями почти не приходится. Если к тому же вспомнить, что американские банкиры-евреи Кун, Лоеб и Шиф оказали Японии крупную финансовую помощь во время русско-японской войны, а Шиф был даже награжден императором, то непонятно, где истоки антисемитизма, прочно укоренившегося в определенных слоях японсого общества. Пытаясь понять этот феномен, я выделил пять решающих (на мой взгляд) факторов.

В XIX-нач. XX в. самым сильным союзником Токио была Великобритания, искавшая пути противодействия русской экспансии в Азии. Англичане оказали немалое влияние на менталитет японской правящей верхушки, передав ей не только культурные ценности, но и многовековой британский антисемитизм. Ярым юдофобом слыл принц Коноэ - эстет, почитатель Оскара Уайльда и Марселя Пруста, дважды становившийся премьер-министром. Всю жизнь опасавшийся происков Коминтерна, принц отождествлял марксизм с мировым еврейством и был не одинок в подобных убеждениях. Большевистский переворот 1917 года и заметное участие евреев в коммунистическом движении стали вторым фактором японского антисемитизма.

В годы второй мировой войны Япония во многом подражала Германии. Однако меры, принятые в присутствии императора на конференции по взаимодействию между Берлином и Токио в марте 1942 года, были лишь бледной тенью гитлеровского «окончательного решения». Имиграция евреев в Японию, Китай, Маньчжурию и все оккупированные территории была запрещена. Жившие там евреи аресту не подвергались, хотя было решено, что «по причине особых расовых характеристик евреев, наблюдение за местами их проживания и предпринимательской деятельностью станет усиленным. В нужное время их враждебная деятельность будет устраняться и подавляться». Помня об услугах банковской группы Куна и Лоеба, Токио выделил категорию «императорских евреев», полезных странам оси и подлежащих «тщательному отбору и соответствующему обращению». Особые меры принимались в отношении немецких,

голландских (проживающих в Вест-Индии) и российских евреев Северного Китая и Маньчжурии, - последние, впрочем, считались белоэмигрантами, которых ждала страшная участь: военному министерству было разрешено использовать их как подопытных в лабораторных экспериментах.

(Замечу в скобках, что свастика, довольно часто встречающаяся в Японии, - это древний символ солнца, использовавшийся во многих языческих верованиях и на всех континентах, кроме Австралии. Особенно распространена свастика в буддийских храмах; это, конечно, не означает, что медитирующие здесь бонзы - неонацисты и антисемиты. Куда большую тревогу вызывают продающиеся в мелких лавчонках зажигалки и прочие сувениры в надписью «Браво, Гитлер!»).

По мере обострения соперничества за мировой рынок общественное мнение в Японии стало винить американских евреев за антияпонскую политику США; в 70-80-х гг. бестселлерами стали книги, клеймящие «еврейское лобби» США.

Не делает японцев юдофилами и регулярная, но весьма односторонняя информация о положении на Ближнем Востоке. И все же антисемитизм в Японии не бытовой и не государственный, не польского или сирийского образца, а ... политический, что ли? Он и «колеблется», как в анекдоте, вместе с генеральной линией Либерально-демократической партии.

Мне не раз приходилось слышать уважительные отзывы японцев о еврейском народе. А в гостиничном ресторане Киото, зимой прошлого года, придя на встречу с известной скрипачкой, я, вместо того, чтобы слушать ее рассказ о японских музыкантах, сам превратился в рассказчика - так велик был интерес моей собеседницы к иудаизму.

В Токио, как и в большинстве крупных городов мира, есть еврейский культурный центр. Здесь я встретил Барбару Леви, - она американска, из семьи польских евреев, приехала в Токио из Калифорнии и уже три года преподает здесь английский язык, утром - в школе, вечером - в колледже. А сын Барбаты изучает экономику в Токийской университете.

... Поздней осенью 1945 года, вернувшись с допроса на американском военном корабле, принц Фумимаро Коноэ, оскорбленные обращением «мистер Коноэ», пожаловался: «Возможно, на их отношении ко мне сказался тот факт, что в штабе Макартура так много евреев». Через несколько недель Коноэ покончил жизнь самоубийством.К сожалению, японский антисемитизм более живуч.

Ньюпорт-Токио

Шейла К.ДЖОНСОН

«Лос-Анжелес таймс»

Японцы и евреи: не надо сводить счеты

В июле 1992 г. еженедельник «Шукан пост» опубликовал статью под названием «Японские корпорации затравлены на бирже махинациями еврейского капитала». Это было не первое и, конечно, не последнее проявление антисемитизма в Токио.

Однако большинство японцев удивятся, узнав, что их считают антисемитами, т.к. они чаще всего не могут отличить иностранца-еврея от иностранца-нееврея, а многие даже высоко ценят в евреях ум, деловую хватку и сильное национальное самосознание. Как с грустью отмечает в своей новой книге «Евреи и японцы. Удачливые изгои» ее автор Бен-Ами Шиллони (Израиль), трудно понять, где у японцев кончается юдофилия и начинается юдофобия.

Шиллони анализирует историю отношений евреев и японцев, двух этносов, напоминая, что в древности оба народа считали себя «избранными». Шиллони - сын раввина и известный израильский исследователь истории Японии - видит сходство между иудаизмом и синтоизмом: обе религии «утверждают жизнь и избегают напоминаний о страданиях и смерти». Что же касается отношения японцев к евреям, то оно, по мнению автора, формировалось по влиянием христианских миссионеров, Библии, «Венецианского купца» (первая из пьес Шекспира, переведенная и поставленная в Японии) и японских христиансих сект. Одна из них - Макуйя - проповедует возврат к еврейским корням христианства, признает символом веры менору, а не крест, организует ежегодные массовые паломничества в Израиль. Среди последователей этой секты надо назвать Козо Окамото, единственного террориста, оставшегося в живых после уничтожения преступной группы, устроившей резню в Тель-Авивском

аэропорту Лод в 1972 г.

Шиллони отмечает: «одна из причин того, почему идея об общих предках (евреев и японцев) до сих пор увлекает представителей обоих народов, заключается в том, что евреи хотели бы быть более многочисленными, а японцы - иметь более глубокие корни». Он также приводит предположение Масинори Миязавы о том, что для некоторых японцев «сравнение с евреями является психологической защитой от Запада. Привлеченные христианской моралью, но напуганные западной культурой, эти японцы пытаются сравнить себя с «первыми христианами», т.е. с евреями».

Что касается меня, то с моей точки зрения (возможно, более жесткой), японцы и евреи, являясь «удачливыми изгоями», страдают от комплекса типа «как у нас дела?».

Евреи, например, убеждены что они дали миру больше философов, музыкантов, Нобелевских лауреатов, чем другие народы. А японцы считают себя артистичными натурами, превосходными дизайнерами и инженерами. К сожалению, столь примитивные проявления национального чувства, противопоставление «наших» «другим» - порождает не только положительные, но и отрицательные стереотипы.

Часто говорят, что Соединенные Штаты - «тигль, который всех переплавляет», а не «салатница», где этнические группы сохраняют на протяжении поколений своеобразие национальных культур. Сами американцы очень любят отпускать шутки по этому поводу. Зная об этническом многообразии своей страны, они стараются избегать стереотипов. Американцы... а какие они? Баловни судьбы? Лодыри? Простофили? Драчуны? Агрессивные? Некоторые, возможно, да. Но в целом американцв избегают ярлыков.

Возможно, японцам и евреям также стоит обращать меньше внимания на свои хорошие и плохие черты. Но если серьезный анализ, детальное исследование и увлекательное изложение помогут развеять эти мифы, то книга Бен-Ами Шиллони будет весьма полезна читателям.

«Джепеэн таймс», 5 декабря 1992
Шейла К.Джонсон - антрополог и автор книги «Японцы глазами американцев».

Пёр. с английского Анны Варжапетян

Надежда БАНЧИК (Львов)

«Армянский антисемитизм» или Еврейско-армянское соперничество?

Над этой проблемой меня заставили задуматься не только теоретические предпосылки, но и личные встречи, особенно с некоторыми учеными Израиля, явно демонстрировавшими «еврейский антиармянизм».

Но правомерна ли сама постановка проблемы «армянский антисемитизм»? Ведь антисемитизм - это политическое движение, возникшее в европейских странах, заявившее о враждебности «семитской расы» т.е. евреев «по крови», европейским народам. Это было продолжение извечного конфликта, но вместе с тем начало нового этапа вражды к евреям - на нерелигиозной основе. По существу, антисемитизм явился реакцией на эмансипацию евреев и на их весьма своеобразное положение в Европе к концу 19 в. Социальные катаклизмы, связанные с развитием капитализма, привели к разрушению гетто, но они не стерли обособленность евреев, а раскололи народ на множество социальных групп и политических движений. Сионизм, ассимиляторство, «культурно-национальная автономия» в странах постоянного жительства, участие в сферах крупного финансового и промышленного капитала, в социалистических и интернационалистских движениях, наконец, мещанство, мелкая лавочная торговля, ремесла - таков диапазон путей, по которым судьба развела народ, бывший прежде единым, обособленным и замкнутым в своем почти непроницаемом для внешних влияний мире. Именно раскол евреев (с одной стороны), и борьба множества разнонаправленных сил и политических интересов в европейских странах (с другой стороны) предопределили сложные многомерные отношения к евреям: от равноправного сотрудничества до дикой вражды, часто скрывавшей стремление определенных групп либо избавиться от конкуренции в лице евреев, либо, распаляя и натравливая чернь на евреев, добиться с помощью «народного гнева» политических целей.

Могли ли исторически сложиться отношения вражды «коренной нации» к «чужакам» (т.е. армян к евреям), если с 1375 г. армянского государства просто не существовало, а оба народа имели почти равный социальный статус? И органична ли вражда к «семитам» народа (быть может, единственного), в котором, судя по многим свидетельствам, евреи некогда ассимилировались?

Мне представляется, что история евреев и армян, их пути и перепутья, сходства и различия обусловили совсем иные отношения между ними: сильнейшее духовное родство и притяжение (как, может быть, ни с каким другим народом), но одновременно яростное взаимное отторжение, сознательное и подсознательное соперничество. И притяжение, и отторжение в корне отлича-

ются от взаимоотношений евреев с «государственными» народами. Соперничество евреев и армян - взаимно, равноправно и глубоко укоренено в истории; оно проявляется не только в политике и экономике, но и в духовной сфере, т.к. оба народа имеют много общего именно в духовном плане: оба - «народы Книги», оба развивали в себе идеи исключительности, избранничества; наконец, оба народа почти в равной мере чувствуют себя как бы нелюбимыми детьми в семье человеческой, одинокими в своей жертвенности. Поэтому, встретившись на дорогах судьбы, евреи и армяне либо открывают друг в друге духовное родство, либо активно отторгают от себя это открытие, ибо оно наносит болезненный удар идеям избранничества, представлениям об исключительности историческтой судьбы своего народа. Возможно, именно эти, безнадежно устаревшие стереотипы еврейского мировоззрения (а не только политические интересы), проявляются в позиции некоторых деятелей Израиля и США, препятствующих требованиям армян о международном признании геноцида 1015 г. Именно геноцида, а не резни или «чудовищного погрома». Делать вид, что этой проблемы сегодня не существует (или она интересна только историкам) - значит, вольно или невольно, укреплять армян в чувстве безысходного одиночества, изоляции и несправедливости, а это способствует, в свою очередь, продолжению кровавой драмы в Карабахе.

Необходимо заполнить «белые пятна» на пересечениях путей евреев (сионистов) и армян во время борьбы за создание своих государств в Османской империи. Необходимо разоблачение всех недомолвок, искажений, лжи в отношениях между двумя народами. В этом направлении предпринимаются активные усилия учеными двух стран; достаточно вспомнить Международный симпозиум в Иерусалиме (1980), посвященный геноциду армян, и Международную конференцию в Ереване (1990) по геноциду в истории XX в., где участвовал д-р Исраэль Чарны из Тель-Авива.

И еще об одном... Утраченный Арарат для армян - не просто «территория» а то же, что Иерусалим для евреев; Арарат - средоточие устремлений, помыслов и взоров всех армян от Аргентины до Австралии.

Я хорошо понимаю, что чувствуют армяне, видя нежелание «мира» признать за ними права на боль и память. Десять лет назад я впервые приехала в Евреван и, стоя у вечного огня Цицернакаберда, с горечью думала, что никогда не смогу вот так же склонить голову перед памятником шести миллионам еврев - тогда, в 1982 году, не могло быть и речи о таком мемориале в СССР! А в прошлом году, 23 августа, я видела открытие памятника жертвам Львовского гетто и вспоминала мученичества не только евреев, но и армян. Именно в этом, хочу верить, явлено самое главное в еврейско-армянских отношениях - «духовное родство оставшихся в живых» (Юрий Карабичесвкий). «Духовным Израилем» открылась мне некогда Армения, такой она и останется в моей душе, - несмотря на все препятствия, которые можно разрушить общими усилиями евреев и армян.

ДОКУМЕНТ

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Будучи последователями великих мировых религий, мы - Предстоятель Русской Православной Церкви и Председатель Высшего религиозного совета народов Кавказа, духовный глава мусульман Азербайджана - встретились в Москве, чтобы засвидетельствовать друг другу свое почтение и обсудить новые пути сотрудничества во имя мира и согласия между религиозными общинами, народами и государствами.

Азербайджан и Россия, чьи исторические судьбы знают много примеров взаимопомощи народов, и сегодня, в период обновления государственности обеих стран, тесно связаны друг с другом. Помимо экономических, культурных, духовных контактов, мы соединены множеством человеческих связей через сотни тысяч как живущих в Азербайджане русских, так и живущих в России азербайджанцев. Это радует нас, и мы готовы приложить все силы, чтобы в каждом уголоке России и Азербайджана дети разных народов жили в мире, согласии и дружбе. Для этого весьма важно, чтобы добрый диалог и взаимная поддержка утердились в отношениях между исламом и христианством, между всеми религиями и конфессиями, последователи которых живут в наших странах.

Каждый из нас воспринимает как личную рану трагедию армяно-азербайджанского конфликта. Глубоко веря в благородную миссию человека, созданного, чтобы выполнять волю Творца на Земле, мы решительно осуждаем любые действия и поступки, противоречащие заветам Всевышнего. Страшным кощунством, которое должно быть незамедлительно пресечено, является разжигание межнациональных конфликтов, поощрение национального эгоизма и агрессии, извлечение политических дивидендов из страданий и бедствий людей. Трагический урок Карабаха должен стать поучительным предостережением и для государственных деятелей, ставящих политику выше судеб народов и для народов, ставших жертвами и заложниками такой политики. Мы призываем народы Армении и Азербайджана, христиан и мусульман добиться прекращения человекоубийства и приблизить справедливое разрешение конфликта через диалог. Мы с удовлетворением воспринимаем шаги к взаимному сближению и миротворческому сотрудничеству, принятые недавно духовными лидерами христиан Армении и мусульман Азербайджана и глубоко сожалеем, что богоугодный призыв роелигиозных деятелей не был услышан и война распространилась на новые регионы. Мы высоко ценим вклад, который вносит в дело умиротворения конфликта Русская Православная Церковь. Наше совместное служение примирению будет продолжаться и впредь, ибо наша воля направлена к миру. Мы решительно отвергаем попытки представить армяно-азербайджанский конфликт как христианско-мусульманское противостояние. Укрепляясь спасительной помощью Единого Творца, мы, религиозные лидеры христиан и мусульман, считаем своим первейшим долгом предать себя заботам о сохранении священного дара жизни, утверждении мира и согласия между людьми независимо от их национальности и вероисповедания. Пусть же верующие люди станут светочами миротворчества, неся свое веское, мудрое слово тем, чьи сердца ожесточились.

Мир и благословение Всевышнего да пребывают с народами Азербайджана и России, со всеми людьми нашей планеты.

ПАРТИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ II

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЫСШЕГО РЕЛИГИОЗНОГО СОВЕТА НАРОДОВ КАВКАЗА ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМ АЛЛАХШУКЮР ПАША-ЗАДЕ

О КАРДИНАЛЕ АГАДЖАНЯНЕ

АГАДЖАНЯН Григор-Петрос, кардинал,родился 18 сентября 1885 в Ахалцихе (Грузия), умер 16 мая 1971 в Риме, католикос армян-католиков, префект Конгрегации по распространению веры. В 1906 уехал в Рим, где в папском университете Урбаниана получил философское и теологическое образование; в 1917 рукоположен в священники, изучал каноническое право в папском институте Utriușque Juris; в 1919 вернулся на Кавказ, возглавлял епархию армян-католиков Тифлиса. В 1921 стал вице-ректором папского армянского колледжа, а также преподавателем космологии и догматики в паском университете Урбаниана, в 1928 советник Конгрегации восточных церквей, член кодификационной комиссии канонического права восточной церкви и экзаменатор клира при римском викариате; с 1932 ректор папского армянского колледжа; в 1935 получил епископство в Комане (Армения); 30 ноября 1937 армянский епископат избрал его католикосом армянской католической церкви с резиденцией в Бейруте; 1958 - пропрефект Конгрегации по распространению веры, префектом которой был в 1960-1970 гг.; папа Павел VI возвел его в кардинал-епископы с титулом викария Альбанского. Как католикос А. заботился о духовных и материальных нуждах прихожан, посещал армянские епархии и колонии во многих странах, основывал сиротские приюты, школы, строил храмы, поддерживал католическую прессу; стремился к объединению армяно-грегорианской церкви с католической, в частности способствовал встрече в 1967 католикоса Киликии Хорена I и в 1970 католикоса Вазгена I с папой Павлом VI в Ватикане. Был другом Польши. Издал более десяти сборников пастырских посланий, среди них: «Церковь и отечество» (1946), «Отцы армянской церкви о первенстве св.Петра» (1949) «Католическая армянская церковь» (1950), «Отцы восточной церкви о святых дарах» (1951), «Отцы армянской церкви о Богородице» (1954).

Как префект Конгрегации по распространению веры посетил католические миссии во многих странах Азии, Африки, а также в Австралии и Океании; оказывал поддержку азиатскому и африканскому духовенству, а также сотрудничеству мирян со служителями церкви на территориях миссий; благодаря его инициативе, в 1964 был создан Страдмор-колледж для подготовки врачей-миссионеров в Найроби. А.был одним из модераторов и председателем комиссии схемы о католических миссиях на II Ватиканском соборе, легатом a latere Павла VI на Евхаристическом конгрессе в Бомбее (1964), а также членом многих комитетов и комиссий; был инициатором издания истории Конгрегации - «Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum», тт. I-III, Рим, 1971.

Н.Сетьян. Кардинал Григор-Петрос Агаджанян. Жизнь и деятельность. Ромкла, 1967-68 (на армян.языке); Кардинал Григор-Петрос Агаджанян. Голос пастыря, пастырские послания. Венеция. 1967. (на армян.яз.)

Гжегож Петрович

Enciclopedia Cattolica polacca. Vol.I, col.165

ПАПА ПАВЕЛ VI - КАРДИНАЛУ АГАДЖАНЯНУ:

Г-н кардинал,

мы высоко ценим ваши заслуги, вашу деятельность префекта Конгрегации по распространению веры - должность, на которую вы были назначены нашими предшественниками и утвержденную мною, и деятельность, которая, как вы знаете, вызывала высокую оценку и благоволение. Основания, которые вы предоставили в объяснение своей отставки и которые вы, конечно, хорошо обдумали, были нами тщательно испытаны и ввиду нашей заботы о состоянии вашего здоровья, мы с сожалением уступаем вашей настойчивой просьбе. Сейчас, когда вы столь великодушно отказываетесь от вашего любимого поприща, мы не можем оставаться безучастными и упустить возможность выразить вам нашу живейшую и самую искреннюю благодарность. К тому нас подвигает не только уважение и признательность вам, которые ваша любезнейшая личность заслужила многолетними трудами, но и признание ваших значительных заслуг на службе Святому Престолу - деятельности, отмеченной мудростью, опытом и усердием, что позволяет нам выразить вам благодарность от имени всех, кому дорого дело католических миссий.

За последние несколько лет во всем мире произошли серьезные и далеко идущие перемены, которые не миновали и территории, где Церковь ведет миссионерскую деятельность. И если мы сегодня отмечаем все более активное христианское присутствие в этих регионах, с чем мы себя можем поздравить; если мы восхищаемся все большей действенностью миссионеров, то в значительной мере это происходит благодаря мудрому руководству заслуженной Конгрегации по распространению веры. Нас радует, что мы можем указать на то, о чем вы по своей скромности умолчали, - что Конгрегация в целом, благодаря вам, оказалась на уровне решения тех сложных задач, которые были поставлены перед миссиями в период после Собора.

Ваша активная деятельность принесла столь богатые плоды, что сие можно считать знаком Божественного Провидения и Благодарения за труды верного служителя. Мы от всего сердца желаем, чтобы это обстоятельство явилось для вас неисчерпаемым источником утешения и святой радости в будущем.

Г-н кардинал, мы надеемся, что вы, будучи освобождены от груза столь великой ответственности, и впредь будете помогать нам своей мудростью и неоценимым опытом, и мы просим Господа, дабы Он даровал вам доброе здоровье и долгую жизнь на пользу Церкви. В знак выражения нашей благосклонности выражаем вам наше апостольское благословение.

Папа Павел VI

Ватикан, 19 октября 1970,
восьмой год нашего понтификата.

Пер. с немецкого Е.Факторовича

Игнат Петрос БАТАНЯН
патриарх Армянской католической церкви

VIDEO BONA*

Именно эти слова, дважды повторенные, произнес глубоко почитаемый и оплакиваемый нами кардинал Григор-Петрос Агаджанян в свой последний час 16 мая 1971 года. Эти два слова заключают в себе все, что мы можем сказать об облике, личности и призвании того, чью память мы только что почтили святой мессой пред Алтарем Господним и к кому были обращены слова литургии: «Пусть память о тебе всегда будет пред ликом бессмертного Агнца Божьего».

Господь, предначертав душе призвание, готовит ее к нему с самого рождения и помогает человеку осуществить свой дар на протяжении всей жизни.

Призвание кардинала Агаджаняна и в Церкви, и в миру имело универсальный характер. Он вызывал всеобщее восхищение универсальностью, которой была одарена его душа, и благодаря которой он умел зреть Господа, простую и всеобъемлющую сущность во всех творениях и все творения - в Боге.

Папа Пий X сумел увидеть в одиннадцатилетнем армянском мальчике, приехавшим в Рим из кавказской деревушки, будущего церковного иерарха.

Религиозное образование Агаджанян получил в колледже Урбаниана, ставшем отчим домом для левитов всех рас и национальностей. Колледж превосходно приготовил его к исполнению завета Господа: «идите, научите все народы», который он осуществил, выполняя свое священническое служение и участвуя в руководстве Церковью, призванной вести народы к спасению.

На кафедре теологии, которую он возглавил в возрасте 27 лет, Агаджанян быстро и естественно завоевал симпатии разноплеменных учеников, каждый из которых считал, что именно его родину больше всего любит профессор Агаджанян. Его пример, видимо, повлиял на учеников: несмотря на противоречия, существовавшие между различными странами, воспитанники колледжа относились друг к другу с братской любовью. Честертон, посетив колледж, заметил: «Вот Лига Наций, где нет соперничества!»

Уроки теологии стали для учеников Агаджаняна как бы лучами его веры, которую они распространили по всему миру. Двадцать лет спустя один священник писал ему: «Воспоминания о ваших лекциях и сегодня являются для меня благодатью»; другой его ученик говорил: «Каждое утро, слушая ваши рассказы о евхаристии, мы переживали минуты экстаза».

Став ректором Армянского колледжа, основанного Львом XIII для того, чтобы священнослужители Армянской церкви могли получать образование в лоне католической церкви, кардинал Агаджанян целиком посвятил себя задаче передать молодым соотечественникам то, что он сам щедро получил от Рима, а также воспитать в них горячую любовь к религиозным, литургическим и национальным ценностям нашего армянского отечества.

Пий XI, заметивший в молодом священнике душу, свидетельствовавшую об

* «Зрю благое». (лат.)

универсальности дарований, решил открыть ему боле широкое поле апостолической деятельности, рукоположив его в 1935 году в сан епископа.

В 1937 году синод армянских епископов избрал Агаджаняна главой Армянской католической церкви и был счастлив обрести в нем «матриарха» - патриарха с материанским сердцем, которого Пий XI надеялся и желал видеть главой нашей общины.

Сознавая необходимость самоотверженного служения, к которому призвал его Господь, вновь избранный глава Армянской церкви так выразил свою неколебимую веру в Бога, любовь к своему народу и самоотречение: «Достоинство патриарха - это крест среди почестей и радостей; честь и славу я отношу к Господу нашему, радость и утешение хотел бы разделить с моим народом, себе же оставляют крест и только крест».

Папа Пий XI был счастлив избранием Агаджаняна главой армянских католиков, и 13 декабря 1937 года объявил в консистории об избрании его кардиналом, отметив, что с невыразимой радостью ждет Григора-Петроса XV Агаджаняна, уже прибывшего в Рим.

Облекшись в мантию, сей сын Армении, столь совершенно овладевший духом Римской церквки, ободренный благословением Наместника Христова, вернулся на Восток, где полностью отдался поддержанию армян, переживших истребление и изгнание в годы первой мировой войны.

Все страны Ближнего Востока были ему равно близки, но Ливан стал для него второй родиной. Президенты Ливана заявляли один за другим: «Кардинал Агаджанян - наш лучший посол». Его многочисленные поездки по всему миру и личные связи давали ему хорошую возможность для осуществления подобной миссии.

Одной из первейших его задач стало сохранение памяти о полутора миллионах армянских жертв. Перед входом в свою резиденцию Агаджанян воздвиг памятник, символизирующий мученичество армян, их великую жертву Богу и Родине, и провозгласил программу своего апостольского служения: трудиться ради того, чтобы его братья остались преданными Богу и Отечеству.

Он был пастырем католической церкви в этимологическом понимании этого слова: его самоотверженность, преданность и милосердие предназначались всем его братьям во Христе. Он хотел быть всего лишь истинным сыном католической церкви, заботящейся о всех церквях. Но ясно сознавал и свою личную миссию: апостольское служение армянскому народу. Этой цели он ревностно служил 25 лет.

Самые тяжелые обстоятельства не могли поколебать его. В его характере ярко выделялись сострадание, смирение, самоотречение. Принципы были для него священны и неколебимы; однако, следуя им, он всегда помнил завет Господа: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Он всегда и всюду действовал как священник, которого Лакордер прекрасно охарактеризовал словами: «Твердый как алмаз, мягкий как мать».

Таково было его отношение к своим чадам - армянским католикам, за которых он, как их пастырь, нес ответственность. Поле его пастырской деятельности было огромным: весь народ, изгнанный с родной земли и рассеянный по всему миру. Самые большие армянские общины образовались в странах Ближнего Востока, особенно в нескольких арабских государствах, братски принявших армян. Им было необходимо религиозное попечение, храмы, школы, приюты для сирот, больницы, духовные семинарии. И все это строил, не покладая рук, заботливый пастырь. Самой большой его заботой, как священнослужителя, было приблизить души соотечественников к Господу, об этом он не уставал молиться. Будучи человеком неколебимых убеждений, он стремился распространить свет веры в своих проповедях, речах, посланиях, собранных воедино и изданных под названием «Голос пастыря» к 50-летнему юбилею священства

Агаджаняна.

В последние годы были основаны многие новые миссии. Агаджаняну удалось посетить их все, поддерживая их своим участием. Руководители всех государств, в которых он побывал, были рады приветствовать его: его приезд давал им возможность обсудить волнующие мир проблемы и воздать хвалу армянскому народу, одного из наиболее выдающихся представителей которого они видели в лице Агаджаняна.

Эти поездки и встречи не удаляли его, но, напротив, приближали к цели всей жизни. Эту цель поставил еще в 1749 г. его предшественник патриарх Авраам Арзивян: «Прославление и распространение католической веры и восславление армянского народа».

Некоторые недалекие умы считали несоединимыми обе части такой цели, но патриарх Агаджанян возражал им вместе с основателем конгрегации мхитаристов: «Да будет известно всем, кто думает и говорит обо мне, что любовь к моей родине и труд на благо ее не мешают моему сердцу горячо исповедовать католическую веру. Точно так же, как и полное послушание Римскому владыке, - примером чему мне служит св.Григоий Просветитель, - не уменьшает моей любви и преданности армянскому народу».

Агаджанян не был ни религиозным фанатиком, ни националистом. Он чтил иерархию ценностей и в Церкви, и в обществе; ясно различал абсолютное и несущественное; умел отдавать Богу Богово, а кесарю кесарево.

Свобода совести и, следовательно, вероисповедания, является неотъемлемым правом личности, проистекающим из требований истинного, в чистоте душевной почитания Господа. Люди могут пытаться урезать или вовсе лишить человека его прав, но это именно тот случай, когда нужно «внимать не людям,но Богу». Именно с такой альтернативой столкнулся кардинал Агаджанян, когда в 1946 г. зашла речь о репатриации армян в Советскую Армению. Как истинный пастырь, Агаджанян нашел в себе мужество сказать всем соотечественника, что свобода, с такой помпой провозглашенная в официальных документах, ничем не гарантирована; а армянам-католикам напомнить к тому же, что «мы вынуждены оставаться вдали от родины, чтобы сохранить в неприкосновенности нашу католическую веру».

В начале 1946 г. он был возведен в сан кардинала великим папой Пием XII, глубоко понимавшим его значение и его добродетели. Агаджаняну выпала высокая честь стать членом Святой Коллегии, но и он сам оказал честь облаченнным в пурпурные мантии, олицетворяющие верность, преданность Церкви и папе «до последней капли крови».

Это не помешало ему в его пастырском служении, которое он осуществлял до 1962 г., в многочисленных поездках по делам Церкви, выступлениях и встречах оставаться человеком добрым и скромным, пастырем, готовым отдать жизнь за свою паству.

Зная его апостольскую душу, рвение в служении Церкви, высокие достоинства ума и характера, Пий XII назначил кардинала Агаджаняна пропрефектом Конгрегации по распространению веры. Иоанн XXIII подтвердил этот выбор, окончательно утвердив его префектом Конгрегации.

Об огромном благе, которое Господь ниспослал нашейй миссионерской Церкви в лице кардинала Агаджаняна, с гораздо большим знанием говорили и писали многие. Я же ограничусь указанием на его спасительную деятельность, обнаруживающую проницательный поиск абсолютного, не имеющего иной цели, кроме восхваления Церкви и прославления Господа.

Если взглянуть на карту миссий, мы увидим, что за последние 12 лет во многих католических странах руководство делами Церкви в значительной части перешло в руки местных священников и епископов. Этот факт обнаруживает огромную работу, проделанную Конгрегацией по евангелизации народов, возглавляемой кардиналом Агаджаняном, который смог уберечь эти церкви от потрясений, к коим легко могло

привести законное стремление к достижению национальной автономии, независимости, суверинитету.

Значение этого успеха тем более велико, что в столь трудное время удалось примирить интересы Церкви и стремления народов, добившихся независимости, удалось осуществить перемены, не задевая ни национальные интересы этих государств, ни священников-иностранцев, вынужденных покинуть свою паству. В связи с этим позвольте мне привести слова его преосвещенства кардинала Росси, высокочтимого преемника кардинала Агаджаняна, который в своей траурной речи выразил признательность молодых церквей миссионерских территорий и всей Церкви кардиналу Агаджаняну «за его инициативу оказать доверие прелатам Латинской Америки, Азии и Африки, вручив им, в духе согласия и миролюбия, руководство Святой Конгрегацией по евангелизации народов».

Вся жизнь Агаджаняна, прожитая в единении с Творцом, и его кончина, благословенная Создателем, дают нам твердую уверенность в том, что он уже удостоился венца небесного по милосердию Божьему, ибо вся его жизнь был дароносицей, излучающей Божественное присутствие.

Несколько лет назад один дипломат нанес визит кардиналу; не будучи католиком, он с восхищением рассказывал о встрече с Агаджаняно: «Я не верю в Бога, но если когда-нибудь мои убеждения изменятся, то, несомненно, я приму веру именно этого человека».

Кардинал Агаджанян ушел в мир иной. Но когда такие люди покидают юдоль земную, о них можно сказать: «Transit bene faciendo» («Ушел, хорошо потрудившись» - лат.).

Таково было свидетельство его святейшества папы Павла VI о своем близком друге, высказанное на общей аудиенции в среду 26 мая 1971 г., когда он заявил своим армянским чадам:

«Ваше присутствие в Риме стало драгоценной поддержкой в испытании, которым явилась для церкви кончина досточтимого кардинала Агаджаняна, вся долгая жизнь которого была отдана служению Армянской Церкви и Святому Престолу; его приветливость, образованность, выдающиеся способности полиглота, обширная эрудиция, дары умы и сердца, и особенно его добродетели епископа сделали его для Нас незаменимым сотрудником, не щадившим сил и времени для наилучшего служения Церкви. История покажет, чем обязаны ему христианская Армения, католические миссии, Святой Престол и вся Церковь».

О жизни и смерти кардинала Агаджаняна, любившего повторять «Video bona», прекрасно сказал один из отцов Армянской Церкви: «Родившийся смертным, он оставил о себе бессмертную память».

Рим, 16 июня 1971

Пер.с франц. Людмилы Мордвинцевой

ДАТЫ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

422 г. до н.э. 30 сентября

Гдалия бен Ахикам, возглавивший еврейскую общину Иудеи после разрушения Первого Храма, предательски убит Ишмаэлем бен Натания, вошедшем в сговор с царем аммонитян.

356 г. до н.э. 4 марта

Аман - первый визирь персидского царя и злейший враг евреев - издал указ о полном их истреблении. Но благодаря ходатайству царицы Эстер евреям разрешено было защищаться и убивать убийц.

807

Халиф Гарун аль-Рашид повелел евреям носить высокий колпак и желтый пояс.

965

Хазарский каганат уничтожен нашествием русского князя Святослава.

1212

Четвертый Латеранский собор обязал евреев, живущих в христианских землях, постоянно носить нашитый на одежду желтый круг. Историки М.Вурмбранд и С.Рот отмечают, что «результатом введения этого знака было отделение евреев от других людей в качестве особой и низшей расы, которую можно в любое время оскорблять и обижать».

1242, 24 июня

В Париже по повелению Людовика IX сожжены двенадцать

телег с ценнейшими списками Талмуда и других священных книг.

1392

Император Людвиг Баварский первым обложил евреев государственной подушной податью.

1475

Комментарий Раши (раби Шломо бен Ицхак, 1040-1105) к Торе стал первой книгой, напечатанной на еврейском языке - даже раньше самой Торы.

1523

Мартин Лютер пишет памфлет «Этот Иисус Христос был рожден евреем», где объявил кровавый навет на евреев клеветой: «И если бы я был евреем, а такие твердолобые идиоты проповедовыли христианство, я скорее бы стал свиньей, чем христианином». Через двадцать лет Лютер станет лютым юдофобом.

1698, 4 сентября

В галицийском городке Окуп родился раби Исраэль Баал-Шем-Тов (Бешт), основатель хасидизма.

1745, 4 сентября

Родился основатель движения ХАБАД раби Шнеур-Залман Борухович из Ляд.

1749

В Вильнюсе сожжен польский граф Валентин Потоцкий, принявший иудаизм.

1798, 16 ноября

Указом имп.Павла I из Петропавловской крепости освобожден раби Шнеур-Залман Борухович, ложно обвиненный в государственной измене. Этот день - 19 Кислева - хасиды считают «праздником праздников», днем рождения ХАБАД.

1886

В Лейпциге издан «Антисемитский катехизис».

1896

Открытие «Каирской генизы» - хранилища («гениза») в Каирской синагоге «Эзра», где были обнаружены 250 тысяч священных текстов, рукописей, документов, скопившихся там за века.

1902, 2 апреля

В Николаеве (Украина) родился раби Менахем-Мендл Шнеерсон, возглавивший в 1950 г., после смерти своего тестя раби Иосифа-Ицхака Шнеерсона движение ХАБАД.

1917

Луис Бранцес стал первым евреем, назначенным (по рекомендации президента Вудро Вильсона) членом Верховного суда США.

1927, 1 июня

Из застенков ОГПУ освобожден любавический раби Иосиф-Ицхак Шнеерсон (1880-1950). Он был приговорен к казни, но под давлением мировой общественности смертный приговор заменили тюремным заключением, потом ссылкой в Кострому.

1948, 12 января

Убийство в Минске сотрудниками НКВД председателя Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса (род.1890), великого актера.

1956, 29 октября

Израильские солдаты открыли огонь по мирным жителям арабской деревни Кафр-Касем, которые шли на работу, не зная об объявленном комендантском часе. Солдаты убили 49 человек. На суде они объяснили, что выполняли боевой приказ, но суд отклонил это оправдание и обвинил 8 солдат в убийстве.

1965, октябрь

2-й Ватиканский собор принял декларацию об отношении римско-католической церкви к нехристианским религиям, 4-й пункт которой целиком посвящен отношению к иудаизму и евреям; там сказано: «Хотя еврейские власти и их сторонники домогались смерти Христа, однако то, что призошло во время Его мук, не может быть вменено в вину ни всем без различия евреям, жившим тогда, ни евреям теперешним».

1967, 17 февраля

Указ Президиума Верховного Совета СССР N818, согласно которому граждане, выезжавшие из страны по т.наз. «израильской визе», считались «выбывшими из советского гражданства с момента выезда из СССР». Действие этого антисемитского указа (ведь не лишались же советского гражданства немцы, выезжавшие на постоянное жительство в

ФРГ, армяне - в США и т.д.) было прекращено с 1 июля 1991г.

1973

В США принята поправка Джэксона-Вэника, которая лишила СССР статуса наибольшего благоприятствования в торговле до тех пор, пока СССР не разрешит беспрепятственный выезд советских евреев.

1993, 22 марта

Седьмым президентом Израиля избран Эзер Вейцман (род.1924), бывший командующий ВВС и министр обороны, племянник первого президента - Хаима Вейцмана.

ДАТЫ АРМЯНСКОЙ ИСТОРИИ

443

Родился Лазар Парпеци, армянский историк. Будучи настоятелем Эчмиадзинского монастыря, основал здесь первую в Армении библиотеку.

721

Хазары вторглись в Армению и разгромили стоявшее там арабское войско.

1418

Почти три тысячи армянских семей ресселились в городах Молдовы.

1482

Выдающийся армянский врач Амирдовлат Амасиаци завершил свой труд по фармакологии - «Ненужное для неучей».

1701

Монах Мхитар Себастаци основал конгрегацию армян-католиков. С 1717 она обосновалась на острове св.Лазаря около Венеции. Своими трудами мхитаристы внесли огромный вклад в развитие и распространение армянской культуры.

1787-1791

Более четырех тысяч армян из Аккермана, Измаила, Бендер, Каушан, Килии переселено на левый берег Днестра. В этом переселении, которым руководил Иосиф Аргутинский, деятельное участие принял русский полководец М.И.Кутузов.

1792, 25 июля.

По указу имп.Екатерины II в долине рек Черная и Черница (Молдавия) заложен армянский город Григориополь.

1804

В Кишиневе построена армянская церковь

1989, 11 января

Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении в НКАО особой формы управления. Приостановление полномочий областного совета. Комитет особого управления Карабахом, подчиненный Москве, возглавил Аркадий Вольский.

1992, 8 марта

Последний солдат СНГ покинул землю Карабаха.

1992, 26 марта

Штурм и захват карабахскими войсками г.Ходжалы в Нагорном Карабахе.

1992, 7 сентября

Армения и Япония установили дипломатические отношения.

1992, 11 ноября

В Армении введено карточное распределение хлеба, норма на одного человека в день - 250 граммов.

1993, 6-8 февраля

Встреча в Монтре (Швейцария) католикоса всех армян Вазгена I и шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде.

1993, март

Премьер-министром Франции стал Эдуард Балладюр (род.1929),

родившийся в армянской семье в Смирне (Турция).

1993, 2 апреля

Армия НКР взяла райцентр Кельбаджар, пробив второй (после Лачинского) коридор, связавший Нагорный Карабах с Арменией.

1993, 6 апреля

Президент Азербайджана А.Эльчибей позвонил премьер-министру Израиля И.Рабину, попросив о помощи и дипломатической поддержке. Однако израильское руководство воздержалось от осуждения Армении.

1993, 8 апреля

Виктор Амбарцумян, возглавлявший Академию наук Армении с 1947 г., подал в отставку. Президентом АН избран академик Фадей Саркисян.

1993, апрель

Технолог Ереванского коньячного завода Роберт Азарян, один из создателей бренди «Нойяк», создал новый коньяк «Ван».

1993, 21 апреля

Первая встреча президента Армении Л.Тер-Петросяна и президента Азербайджана А.Эльчибея, прибывших в Анкару на похороны президента Турции Т.Озала.

1993, 10 мая

В Степанакерте открыт университет.

ЕВРЕИ - ЧЕМПИОНЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Я, конечно, прекрасно понимаю, что может показаться несколько странным деление олимпийских чемпионов по национальности. Ведь на Олимпиадах спортсмен представляет только свою страну.

И тем не менее после издания моих книг - «Герои олимпийских баталий», «От Афин до Москвы», «638 олимпийских чемпионов», «От Олимпии до Москвы». «Советская глава олимпийской истории» - в письмах, которые приходили от читателей, нет-нет да возникали вопросы о национальности олимпийских героев, их вероисповедании... Поэтому я охотно откликнулся на предложение главного редактора «Ноя» Вардвана Варжапетяна попытаться выделить из когорты олимпиоников армян и евреев. Работа оказалась безумно сложной, поскольку ни в одном олимпийском справочнике, в какой бы стране и на каком бы языке он не выходил, нет даже тени упоминания о сугубо советском «пятом пункте». И все же кое-что удалось добыть. Заранее прошу прощения у читателей за возможные ошибки и за явную неполноту сведений. По мере появления (не исключено, что и с вашей помощью, читатель) новых данных, я предложу их в последующие номера журнала. В этом номере имена евреев - чемпионов предвоенных Олимпийский игр 1896-1936 гг.

Валерий ШТЕЙНБАХ

1. АБРАХАМС Харольд. Великобритания. На Олимпиаде 1924 г. в Париже занял 1-е место в беге на 100 м., показал результат 10,6 сек. - новый олимпийский рекорд.

2. АБРАХАМСЕН Исаак. Норвегия. Чемпион Олимпиады 1912 г. в Стокгольме в командном первенстве по гимнастике.

3. АЗЕРБРУК Анри. Франция. На Играх 1900 г. в Париже завоевал золотую медаль по гребле в четверке распашной без рулевого.

4. АМАНН Макс. Германия. Участник команды ватерполистов - победительницы Олимпиады 1928 г. в Амстердаме.

5. АНСПАХ Анри. Бельгия. Чемпион в командном первенстве по фехтованию на шпагах на Играх 1912 г.

6. АНСПАХ Поль. Бельгия. Участник трех Олимпиад. В 1908 г. получил бронзовую медаль в командном первенстве по фехтованию на шпагах, в 1912 - две золотые медали в личном и командном первенстве среди шпажистов, в 1920 - серебряную медаль в командном первенстве по шпаге.

7. АРИ Марк. США. Завоевал две золотые медали на Олимпиаде 1920 г. в Антверпене в личном и командном первенстве в стрельбе по «голубям».

8. БАУЭР Рудольф. Венгрия. Победил в метании диска на Олимпиаде 1900 г. с новым олимпийским рекордом - 36,04 м.

9. БАРТА Иштван. Венгрия. Золотой медалист - участник команды ватерполистов на Олимпиаде 1932 г. в Лос-Анджелесе.

10. БЕВЕКЕ Эмиль. Германия. Участник команды ватерполистов - победительницы Игр 1928 г.

11. БЕНТХЭМ Исаак. Великобритания. Участник команды ватерполистов - победительницы Игр 1912 г.

12. **БЕРГЕР Сэмюэль.** США. Чемпион Олимпиады 1904 г. в Сент-Луисе по боксу в тяжелом весе.
13. **БИБЕРШТЕЙН Арно.** Германия. Чемпион Игр 1908 г. в Лондоне в плавании на спине на дистанции 100м - 1.24.6.
14. **БОЛТЕР Сэмюэль. США.** Участник команды баскетболистов - победительницы Игр 1936г. в Берлине.
15. **БРОДИ Дьердь.** Венгрия. Участник команды ватерполистов - победительницы Игр 1932 и 1936 гг.
16. **ВЕЙСМЮЛЛЕР Джон.** США. Обладатель пяти золотых олимпийских медалей в плавании. Один из выдающихся пловцов всех времен. На Играх 1924 г. установил два новых олимпийских рекорда, выиграв дистанции на 100 и 400 м вольным стилем, соответственно: 59,0 и 5.04,2 и был соавтором нового мирового рекорда в эстафете 4 х 200 м вольным стилем. На Олимпиаде 1928 г. установил новый олимпийский рекорд на дистанции 100 м. вольным стилем - 58,6 и еще одну медаль получил в эстафете 4 х 200 м вольным стилем.
17. **ВЕЙЦ Рихард.** Венгрия. Чемпион Игр 1908 г. в тяжелом весе в классической борьбе.
18. **ВЕКМАН Вернер.** Финляндия. Полутяжеловес, победивший в классической борьбе на Играх 1908 г.
19. **ВЕРКНЕР Лайош.** Венгрия. Чемпион Игр 1908 и 1912 гг. по фехтованию на саблях в командном первенстве.
20. **ВИМАН Давид.** Швеция. Победитель в командном первенстве по гимнастике на Играх 1908 и 912 гг.
21. **ГЕРДЕ Оскар.** Венгрия. Участник команды-победительницы Игр 1908 и 1912 гг. по фехтованию на саблях.
22. **ГОМБОШ Шандор.** Венгрия. Чемпион Игр 1928 г. в командном первенстве по фехтованию на саблях.
23. **ГОРДОН Эдуард.** США. Чемпион Игр 1932 г. в прыжках в длину - 7,64 м.
24. **ГУДУИН Лео.** США. Участник команды по водному поло- победительницы Игр 1904 г.
25. **ГЭЛИТЦЕН Майкл.** США. Чемпион Игр 1932 г. в прыжках в воду с трамплина, серебряный призер в прыжках с вышки.
26. **ДВОРАК Чарльз.** США. Победил на Играх 1904 г. в прыжках с шестом с новым олимпийским рекордом - 3,50 м.
27. **ДЖЕФФИ Ирвинг.** США. На зимних Олимпийских играх 1932 г. в Лейк-Плесиде выиграл две конькобежные дистанции - на 5000 и 10000 м.
28. **ДЖУЛЭК Джордж.** США. Гимнаст, чемпион Игр 1932 г. в упражнениях на кольцах.
29. **ИЗРАЭЛЬС Исаак.** Нидерланды. Победитель конкурса искусств на Олимпийских играх 1928 г. в разделе «живопись», подраздел «масло» за картину «Красный всадник».
30. **КАБОШ Эндре.** Венгрия. На Играх 1932 года завоевал золотую медаль в составе команды саблистов и бронзовую в личном первенстве. На Играх 1936 г. был первым и в командном, и в личном первенстве по фехтованию на саблях.
31. **КАРПАТИ Карой.** Венгрия. Борец легкого веса, победивший на Олимпиаде 1936 г.
32. **КАЦ Элиас. Финляндия.** Чемпион Игр 1924 г. в командном беге на 3000 м, завоевал еще и серебряную медаль на той же Олимпиаде в беге на 3000 м с препятствиями.
33. **КЕЛЛЕНБЕРГЕР Эмиль.** Швейцария. Завоевал 1-е место в составе команды на Играх II Олипиады 1900 г. в стрельбе из произвольной армейской винтовки на 300 м лежа, с колена и стоя. Еще одну золотую медаль получил за победу в личном первенстве в той же дисциплине.
34. **КЛАРК Луис.** США. Победитель Игр 1924 г. в легкоатлетической эстафете 4 х 100 м.

35. КОПЛЕНД Лилиан. США. Победила на Играх 1932 г. в метании диска среди женщин с новым мировым рекордом - 40,58 м.
36. ЛЕЙН Альфред. США. Чемпион Олимпиады 1920 г. в командном первенстве в стрельбе из пистолета-револьвера одиночным выстрелом на 50 м и на 30 м. В личном первенстве в стрельбе из пистолета и револьвера завоевал бронзовую медаль.
37. ЛИПМАН Александр. Франция. Известный фехтовальщик, участник трех Олимпиад. На Играх 1908 г. завоевал в фехтовании на шпагах золотую медаль в командном первенстве и серебряную - в личном. На Играх 1920 г. - серебряную в личном первенстве и бронзовую - в командном. На Играх 1924 г. - вновь золотую медаль в командном первенстве.
38. МАЙЕР Хелен. Германия. Чемпионка Игр 1928 г. по фехтованию среди женщин. На Играх 1936 г. завоевала серебряную медаль.
39. МАНТЕЙФЕЛЬ Фриц. Германия. Чемпион Игр 1896 г. в командных упражнениях гимнастов на брусьях и перекладине.
40. МОСБЕРГ Сэмюэль. США. Боксер легкого веса - чемпион Игр 1920 г.
41. НИФЛО Исаак. США. Борец вольного стиля. Победил на Играх 1904 г. в полулегкой весовой категории.
42. НОЙМАН Пауль. Австрия. Чемпион Игр 1896 г. в плавании вольным стилем на дистанции 500 м. - 8.12,6.
43. НЬЮТОН Альберт. США. В составе команды завоевал золотую медаль в беге на 4 мили на Играх 1904 г.
44. ОСИПОВИЧ Альбина. США. Чемпионка Игр 1928 г. в плавании на 100 м вольным стилем (1.11,0 - новый олимпийский рекорд) - и в эстафете 4 x 100 вольным стилем.
45. ПЕТЧАУЭР Аттила. Венгрия. На Играх 1928 г. в фехтовании на саблях завоевал золотую медаль в командном первенстве и серебряную - в личном. На Играх 1932 г. - золотую в командном первенстве.
46. ПЛАНК-САБО Херма. Австрия. На зимних Олимпийских играх 1924 г. в Шамони стала победительницей в фигурном катании на коньках.
47. ПРАЙС Элен. Австрия. В 1932г. стала победительницей женского олимпийского фехтовального турнира. На Играх 1936 г. завоевала бронзовую медаль.
48. ПРИНСТЕЙН Майер. США. Победитель Игр 1900 г. в тройном прфжке - 14,47 м - новый олимпийский рекорд. На той же Олимпиаде завоевал серебряную медаль в прыжках в длину с результатом 7,175. На Олимпиаде 1904 г. выиграл две золотые медали: в прыжках в длину - 7,34 - новый олипийский рекорд и тройным - 14,325м. На той же Олимпиаде занял пятые места с беге на 60 и 400 м.
49. РОЗЕНФЕЛЬД Фанни. Канада. Чемпионка Игр 1928 г. в эстафете 4 x 100 м, в финале которой канадская команда установила новый мировой рекорд. В беге на 100 м завоевала серебряную медаль.
50. РОКФЕЛЛЕР Джеймс. США. Чемпион Игр 1924 г. в гребле на восьмерках.
51. САЛЬМОН Гастон. Бельгия. Чемпион Игр 1912 г. в командном первенстве по фехтованию на шпагах.
52. ФИКАЙЗЕН Отто. Германия. Победил в гребле на четверке с рулевым на Олимпиаде 1912 г.
53. ФИКАЙЗЕН Рудольф. Победил в гребле на четрверках с рулевым вместе со своим братом на Играх 1912г.
54. ФИЛДС Джекки. США. Чемпион Игр 1924 г. по боксу в полулегком весе.
55. ФИШЕР Морис. США. На Играх 1920 г. завоевал золотые медали в личном и командном первенстве по стрельбе из произвольной армейской винтовки на 300 м, 3 x 40 стоя, с колена,

лежа. Кроме этого, получил золотую награду за стрельбу в составе команды из произвольной армейской винтовки лежа. На Играх 1924 г. завоевал две золотые медали в стрельбе из винтовки на 400 - 800 м в командном и личном первенстве.

56. ФЛАТОВ Альфред. Германия. На Играх 1 Олипиады 1896 г. завоевал 3 золотые медали в гимнастике - в личном и командном первенстве на брусьях и в командном - на перекладине. Серебряную медаль получил в личном первенстве на перекладине.

57. ФЛАТОВ Феликс. Германия. На Играх 1896 г. завоевал две золотые медали в командном первенстве в упражнениях на брусьях и перекладине.

58. ФУКС Ене. Венгрия. На Играх 1908 и 1912 гг. завоевал четыре золотые медали в фехтовании на саблях - две в командном и две - в личном первенстве.

59. ХААС Ханс. Австрия. Штангист легкого веса, завоевавший на Играх 1928 г. золотую медаль с результатом 322,5 кг.

60. ХАЙОШ Альфред. Венгрия. Настоящая фамилия - Гуттман. Хайош - был его спортивным псевдонимом, под которым он выступал в соревнованиях. Позднее он окончательно переменил фамилию. Первый олимпийский чемпион по плаванию. На Играх 1896 г. завоевал две золотые медали - на дистанциях 100 м вольным стилем - 1.22,2 и 1200 м вольным стилем - 18.22,2. Позднее стал известным архитектором. В основном занимался проектированием спортивных сооружений. На Олимпийскийх играх 1924 г. получил серебряную медаль на конкурсе искусств по разделу архитектура за проект стадиона. Автор проекта знаменитого «Непштадиона» в Будапеште.

61. ХЕССЕР Дэвид. США. Игрок команды ватерполистов- победитльницы Игр 1904 г.

62. ЧАК Ибоя. Венгрия. Победила в соревнованиях в прыжках в высоту с результатом 1,60 м на Играх 1936 г.

63. ШЕНКЕР Золтан. Венгрия. Участник двух Олимпиад. На Играх 1912 г. завоевал золотую медаль в составе команды по фехтованию на саблях. На Играх 1924 г. - серебряную медаль в составе команды саблистов и бронзовую - в составе команды рапиристов.

64. ШИРМЕР Эйстери. Норвегия. На Играх 1912 г. завоевал золотую медаль в командном первенстве по гимнастике.

65. ШМАЛЬ Феликс. Австрия. На Играх 1896 г. получил золотую медаль в 12-часовой велосипедной гонке. Еще две бронзовые награды завоевал в гите с места и в гонке на 1000 м.

66. ШТЕРН Жан. Франция. На Играх 1908 г. в командном первенстве по фехтованию на шпагах завоевал золотую медаль.

67. ШТРЕССЕРБЕРГ Йозеф. Германия. Чемпион Игр 1928 г. среди штангистов тяжелого веса - 372,5 кг. На Играх 1932 г. завоевал бронзовую медаль, улучшив свое достижение на 5 кг.

68. ШТУКЕЛЬ Леон. Югославия. Абсолютный чемпион по гимнастике Игр 1924 г. Вторую золотую медаль получил за упражнения на перекладине. На Играх 1928 г. завоевал бронзовые медали в командном первенстве и в многоборье и золотую - в упражнениях на кольцах.

69. ЭЛЕК Илона. Венгрия. Чемпионка Игр 1936 и 1948 гг. по фехтованию среди женщин.

70. ЭЙБЛОВИЧ Эдгар. США. Чемпион Игр 1932 г. в эстафете 4 x 400 м, в которой американская команда установила новый мировой рекорд.

САМИ О СЕБЕ

Печальна моя доля, нигде меня не считают своим: на своей родине я - жид, в Германии - русский, в Англии - герр Рубинштейн. Всюду я чужой.

Антон РУБИНШТЕЙН (1829-1894) - русский пианист, композитор, дирижер. Основатель Русского музыкального общества и первой российской консерватории.

Я - цветок гибрид
Полурусский
Полу-жид
Художник неоднородный
Космополит безродный
Время цветенья
Эпоха безвременья
Неустойчив морально
Для гибрида это нормально
Почти задушен
Плевками в душу.

Вадим СИДУР (1924-1986) - советский скульптор, художник, поэт. На фронте был смертельно ранен, но выжил. Как и скульптор Эрнст Неизвестный, вместе с которым Сидур служил в пулеметной роте в г.Кушке.

Я когда был маленьким, немного чувствовал себя армянином, но армяне убили во мне любовь к Армении. Если скажут: вот билет до Еревана, всего рубль цена - не куплю. Не хочу. Мой дедушка был армянином из Мадраса или Калькутты, но я не знаю ни одного индийского армянина, который не был бы евреем. Моя бабушка еврейка, она пешком пошла из Армении в Израиль. Скоро, наверное, и я пойду.

Гамлет-Рам ГАСПАРЯН (род.1945) - художник буквы, эксперт-нумизмат, человек, отличающий подлинное от фальшивого.

Я - русский еврейского происхождения. Я никогда не исповедовал еврейской религии, не знал еврейского языка, не сознавал и не чувствовал себя евреем. Но великий польский поэт Юлиан Тувим, который был

поляком еврейского происхождения, очень хорошо сказал: «Есть родство по крови, но не той крови, которая течет в жилах, а той, которая вытекла из жил многих жертв...».

Лев КОПЕЛЕВ (род.1912) - писатель, филолог-германист, руководитель «Вуппертальского проекта», в рамках которого издаются две серии изданий - «Россия глазами немцев» и «Германия глазами русских».

Мы поселились (в 1936 г.) в тупике Беарн, в темной квартире с низкими потолками и стенами, обклееными светло-зелеными обоями. В самом центре парижского еврейского квартала. Все мои новые приятели - евреи. А поскольку нация эта так же гостеприимна, как и армяне, мы только и делаем, что приглашаем друг друга на ужин. Я слышу теперь новую музыку, очень похожую на русскую, а иногда и на армянскую. Мне кажется, этим сходством еврейские и армянские мелодии обязаны минорным созвучиям, ностальгии и веселости, переходящей временами в надрыв.

Я чувствовал себя прекрасно среди этих людей, жизнь которых протекала очень обособленно, а обычаи и кухня казались мне близкими к армянским.

Шарль АЗНАВУР (род.1924) - французский шансонье, композитор, актер, автор книги «Азнавур об Азнавуре» (1970).

Душа у меня еврейская, ум - русский, а сердце - английское, поскольку сердце можно пересаживать: я присягнул на верность королеве...

Зиновий ЗИНИК (род. 1945) - русский писатель, живет в Лондоне, автор и ведущий радиообозрения «Уэст-энд» на «Русской службе» Би-Би-Си, член клуба «Колони рум».

Альфред ТЕННИСОН

СТРАНСТВИЯ МЕЛДУНА

(по легенде VII в.)

Он убил моего отца, он пронзил его грудь копьем,
Я еще не родился тогда, но я вырос и стал вождем.
И собрал я лучших людей со всей ирландской земли.
И каждый из них говорил, что предки его - короли.
И каждый был доблестью равен героям прежних веков
И каждый ради другого на смертные муки готов.
Мы в пятницу подняли парус, доверясь седым волнам.
Убийца жил среди моря, но путь был известен нам.
И вот показался остров, и ОН был на берегу.
Но грянул восточный ветер - словно на помощь врагу.
И нас унесло на запад, и много дней и ночей
Блуждали мы в чуждых водах, вдали от морских путей.
И мы увидели остров, где всюду была тишина.
О зубья безмолвных утесов билась немая волна.
И в воздухе оцепенелом листьями не шевеля,
Окованы вечным безветрием замерли тополя.
Неслышный, как тень, водопад, казалось, примерз к скале,
И словно змея, бесшумно, ручей прополз по земле.
Вися в небесах неподвижно, жаворонок молчал,
Собаки не лаяли, птицы не пели и скот не мычал.
И мы обошли весь остров, безлюдный, словно Эдем.
И был он как жизнь прекрасен, как смерть бездыханная нем.
И в ярости мы закричали, но наш испытанный клич,
Что делал из труса героя, а из охотника дичь,
Не мог побороть безмолвья, и мы надрывались зря -
Он жалобным был и пискливым, как голос нетопыря.
Охвачены страхом и злобой (кричать уже было невмочь)
Мы шепотом прокляли остров и молча отправились прочь.

И вышли мы к острову Крика и там, причалив едва,

Услышали крик человечий и человечьи слова.
Но это вопили птицы с вершин необъятных скал
И крик каждый час начинался и вскоре затем умолкал.
Казалось что рушится небо, на землю нисходит тьма.
И падали замертво кони, а люди сходили с ума,
С деревьев кора осыпалась, цветы обращались в прах
И кровля с домов срывалась, и хлеб засыхал в полях.
И мы потеряли рассудок, и сами, нещадно вопя,
Набросились друг на друга - но тут я пришел в себя,
Сумел образумить дружину и, раненых взяв с собой,
А мертвых оставив птицам, мы путь продолжили свой.

И остров Цветов показался, где лето длится весь год,
Ни облачка на небосводе, а воздух слаще, чем мед.
На многие мили вокруг благоухает вода
И все, что способно цвести, должно быть, слетелось сюда.
Там красный как кровь страстоцвет и синий как ночь ломонос.
Тюльпанов живые огни с утеса ползут на утес.
Там, что ни цветок, то факел; что ни кустарник - костер!
Там лилии вместо снега сверкают на гребнях гор.
И тихо скользят по склонам как маленькие ледники,
А вверх перламутровой стайкой бегут им на встречу вьюнки.
И мы, опьянев от восторга, брели, напролом сквозь кусты,
Где нет ни шипов ни листьев, а только одни цветы,
По грудь в лепестках утопали и пели о рае земном,
И каждый себе казался языческим божеством.
И каждый был щедро осыпан, как эльф, золотою пыльцой...
И каждый был сух, как кузнечик - все соки вытягивал зной.
И мы, обезумев от жажды, бросались туда и сюда -
Цветы, да цветы, да бутоны - ни одного плода!
И мы тогда прокляли остров и все, что на нем росло,
И в клочья цветы изорвали, на них вымещая зло,
И вихрь подхватил обрывки и вдаль, в океан, унес...
Когда мы отчалили, вслед нам глядел обнаженный утес.

А дальше был остров Плодов, где скалы увил виноград,
Едва не касаясь воды, янтарные гроздья висят.
Там дыня лежит на песке как солнце упавшее с неба.
Там вместо воды апельсины и финики вместо хлеба.
Деревья под сладостным грузом присели к земле, наклонив
И тусклое золото груш и влажную радугу слив,
И черные россыпи вишен. Нам было еще невдомек,

Что в этих плодах притаился хмельной одуряющий сок,
А он отуманивал разум и делал бессвязною речь
Сердца переполнила злоба, и руки схватились за меч.
Но я был трезвее прочих и, бешенству путь преградив,
Сказал, что отец мой умер, а подлый убийца жив,
А время идет - и меч мой помог им меня понять.
И, пересчитав уцелевших, мы вышли в море опять.

А в море был остров Огня - как демон восстал из воды,
Дыханьем прожег небеса до самой Полнярной звезды,
Пылая на пол-океана, сметая ночную тьму.
Как мошек на пламя костра, корабль потянуло к нему.
Ведь мы еще были хмельны от тех окаянных плодов,
А остров дрожал как в падучей, вот-вот развалиться готов
И кто-то, вконец обезумев, бросился в огненный зев
Тогда только мы повернули, в последний миг отрезвев,
Я вскоре заметил, что море прозрачнее, чем эфир.
Мы глянули вниз. О боже! Что за неведомый мир!
Дворцы из старинных сказаний! Сады в глубине морской!
Прохладные тихие храмы! Блаженство и вечный покой!
Но трое людей моих лучших бросились в волны - и в миг
Подводный Эдем сокрылся, внезапно, как и возник.

А дальше был остров Довольства, где жизнь несказанно легка.
Где с низкого неба спускалась, сверкая, как солнце, рука,
И всех оделяла в избытке и пищею и питьем.
Вначале-то мы ликовали. Но день проходил за днем,
А мы только пили, да ели, да пели о прошлых боях,
О доблести наших предков, о сказочных королях,
Да спали под низким небом, как будто под теплым плащом.
И вскоре стали томиться, вздыхать и зевать. Потом
Нам стало казаться, что небо давит, как душный склеп,
Хотелось вцепиться зубами в руку, дающую хлеб.
Хотелось сражаться - но не с кем. Не драться же меж собой?
Но кто-то решил для забавы затеять шуточный бой.
Удачной была эта шутка, и бой настоящий, точь в точь!
Но многие пали. Опомнясь, мы в ужасе бросились прочь.

И встретили остров Колдуний, где воздух от страсти багров.
Они простирали к нам руки, мы слышали сладостный зов.
Колдуньи бежали по скалам, нагие как Ева в раю,
Колдуньи плясали на волнах под дикую песню свою,

Колдуньи как белые птицы сверкали на желтом песке.
Я понял, здесь наша гибель и прочь повернул в тоске.

И вышли мы к острову Башен, охваченных вечной враждой.
Их две, и одна была гладкой, другая покрыта резьбой.
Их движет подземное пламя, под ними свирепствует ад,
Они ударяются лбами и тут же отходят назад,
И вновь начинают сближаться, исполнены страсти и зла,
И без перерыва трезвонят огромные колокола.
И чайки, крича, вылетают из окон и вьются кругом,
И нас оглушил этот грохот, и нас опьянил этот гром.
И нам самим захотелось вмешаться в смертельный спор,
Сразиться за голый камень, сразиться за хитрый узор.
И мы разделились и стали бороться между собой,
Одни за гладкую башню, другие - за башню с резьбой.
Господь покарал нашу глупость - мы бились целую ночь,
Наутро, собрав уцелевших, я с ними отправился прочь.

И вот мы пришли на остров, где жил отшельник святой.
И был его голос чуть слышен, а взгляд сиял добротой.
Он прожил на острове этом без малого триста лет.
И был он как призрак бледен, и был он худ, как скелет.
До самой земли струилась седая его борода,
И он произнес : «О, Мелдун! Воля твоя тверда,
Но воля Господа тверже. Внемли его словам!
Сказано: «Мне отмщенье!» Вспомни: «И аз воздам!»
Твой дед убил его деда и начал кровавый счет,
И сам был убит за это. С тех пор оно так и идет:
Отцы убивали друг друга. Друг друга убьют сыновья.
За ними последуют внуки. Что ж, Мелдун, воля твоя.
Но сколько убийств еще нужно тебе для покоя души?
Вернись на родину, Мелдун, и прошлого не вороши.»
Вот так он сказал - и никто бы не смог возразить ему.
И мы лишь поцеловали седой бороды бахрому,
И вышли с молитвою в море. Корабль паруса развернул,
И старец благословил нас, и ветер попутный подул.
Недолгой была дорога, и вновь показалась земля,
Где жил он, мой враг, убийца. Но я не сошел с корабля.
Устав от грехов, от ошибок, от страсти, от жизни самой,
С десятою частью дружины я возвратился домой.

Пер. с английского Анатолий Фридман

Юлиан ТУВИМ

ЕВРЕЙЧИК

Скачет, распевает к нам во двор забредший
Дурачок-еврейчик, местный сумасшедший.

Бог лишил рассудка, люди - гонят взашей,
Стал язык в изгнаньи стоязычной кашей.

Чешется и скачет, заливаясь плачем,
Что, мол, жизнь погибла в нищенстве бродячем.

Грустный барин смотрит из окна квартиры:
Глянь и ты на брата, младший брат мой сирый!

И куда ж завел нас вечный путь бездомный,
Чуждых и немилых всей земле огромной?

Этот грустный барин, в том же танце странном,
Мечется как шалый по бессчетным странам.

Он в поэты вышел, колеся по свету,
Сердце, как монету, завернул в газету

И швырнул в окошко, чтобы в грязь упало,
Чтоб его втоптали, чтоб оно пропало.

Разойдемся молча, два шута безродных,
Для скитаний горьких, странствий сумасбродных;

Не найдем приюта, ни в одном куточке, -
Певчие жидочки, глупые жидочки...

РОДОСЛОВНАЯ

Зачем ты лезешь вон из кожи,
Во мне обрезанца провидишь?
Твоя жена - еврейка тоже,
Ты пишешь сам почти на идиш,
Жиды смердят в твоей газете,
А тетя, главная хозяйка,
Гранд-дама, принятая в свете,
На самом деле, просто Хайка;
И женин дядя, Сендер прыткий,
Нас не обманет камуфляжем, -
Он сын Абрамчика, Давидки,
Иль, может, Лейбы, прямо скажем.
Он в хедере сидел недаром,
По сидурам учился старым,
Ему вдолбил меламед строгий
Алеф, бет, гимел, даже далет,
Враскачку пел он в синагоге;
Такое прошлое - о, боги! -
Его мучительно печалит.

Откуда родом это панство
И все твои сыны и дочки,
Иерусалимское дворянство,
Ясновельможные жидочки?
Каким гербом какой эпохи
Твоя жена гордится ныне?
Каков девиз ее мишпохи,
И где истоки той гордыни?
Для назидания потомства
Пускай народ сведет знакомство
С неоспоримой родословной
Твоей супружницы шановной.

Архив перебирая местный,
Мы на пергаментах читаем,
Что предок был шинкарь известный
И назывался Мордухаем.
В зятьях имел тот предок Шмуля,

А Шмуль - Арончика и Струля;
Жене Арончика Нехаме
И Струлевой супруге - Сарре
Пришлось торговлей потрохами
Вдвоем заняться на базаре.
Нехама родила Абрашу, -
Виновником считали Яшу,
Который с шурином Акибой
Ворочал чесноком и рыбой.
Была сестрой Акибы Ента,
Супруга Мордки, конкурента,
А Мордкина сестрица Хава
Плясать любила до отвала;
Она налево и направо
Маюфес в пурим танцевала.
С ней Мендель танцевал и Хаим,
Хиль, Енох, Юдка и Эфраим.
Последний тур был самым длинным
И кончился под балдахином.
В том браке родилась Дебора,
Герш, Файвел, Ройза и Ципора,
Цви, Рива, Брайндла и Гедали,
Менахем, Хацкел и так дале.
На Брайндле Бер женился вскоре,
Достался Борух-Вольф Деборе,
Внук Хацкела, Мойсейчик, сдуру
Взял Файгу, а Менахем - Суру,
Эстерку - Моня, Симха - Риву,
А рыжий Ройзе дали Киву.
У Ройзы был племянник Шая,
Чья бабка, модница большая,
Ревекка-Шифра, непременно
Должна была иметь кузена.
Ее кузен, Йегуда бравый,
Владел лавчонкой под Варшавой,
А брат его, Ицхок-Израиль,
Тувимам в Лодзи обувь драил.

Переводы с польского Аркадия Штайнберга

POST SCRIPTUM

Завершенных и неопубликованных переводов в архиве Аркадия Штейнберга (1907-1984) после этой публикации - ни одного. В том, что два стихотворения Юлиана Тувима, переложенные (Штейнберг предпочитал «переводу» такое обозначение - как несравненно точнее отражающее суть дела) почти одновременно, летом, в самом конце пятидесятых годов, обречены ждать печатания дольше, чем все остальные, он не сомневался. Вообще, для поэта, для которого - подобно большинству коллег-современников - перевод был единственным способом заработать на жизнь, Штейнберг делал, пожалуй, слишком много «незаказного». То есть такого, про что неизвестно было - заплатят ли? Он говорил, что у живописца есть возможность сделать точнейшую копию Рубенса или Леонардо, получая от работы огромное удовольстве (и знал, что говорил, - занимался этим, живописцем был первоклассным). Поэту сложнее. Тут «копия» принципиально невозможна. Но можно переложить на русский поразившие иноязычные стихи, стремясь к тому, чтобы стихи выглядели так, как если бы Мильтон, Гейне или Тувим по-русски их и написали (он признавался, что слегка завидует «двуязычной» Каролине Павловой, которая могла Пушкина перелагать на немецкий)...

Переводы из Тувима именно так и возникли. Вот вкратце их история - как слышал ее от Штейнберга.

То лето он, как обычно, проводил у себя в Тарусе. Писал, рыбачил, переводил, рисовал, изучал польский. И впервые прочитал Тувима в оригинале - впечаталение очень сильное: для первого же перевода выбрал едва ли не самое знаменитое из послевоенных тувимских стихотворений, «Еврейчика», уже чуть не на все языки переведенного. Кроме, естественно, русского. (Несколько лет спустя Эренбург начнет печатать «Люди, годы, жизнь» - и в первом же томе, в главе о Тувиме, конечно, упомянет эти стихи). О публикации речи быть не могло. Ныне в это уже не верится, но свидетельствую собственным опытом: даже слово «еврей» в печатавших стихи редакциях требовали убрать, заменить каким-нибудь «эвфемизмом»...

С «Родословной» было иначе. Она переведена... для одного читателя. Для Паустовского, с которым Штейнберг соседствовал в Тарусе и дружил. Паустовский в ту пору затяжно болел, хандрил, все более мрачнел, развлечь, тем более развеселить его казалось делом безнадежным. И это очень тревожило окружающих: дурное настроение - питательная среда болезни. Тут-то Штейнберг и наткнулся на ехидную, виртуозно-смешную «Родословную» Тувима. Она была сочинена в самый разгар антисемитской кампании, развязанной в Польше по примеру и указанию «Старшего Брата» социалистической семьи-лагеря. И адресовалась некоему газетному редактору, которому еврейское происхождение Тувима, ну, прямо, спать спокойно не давало! Для перевода такие «игровые» стихи сложны чрезвычайно («Что очень хорошо на языке французском, То может в точности быть скаредно на русском», - писал по сходному поводу Сумароков). Они требуют конгениальности: в гибкости словаря, в артистизме, в юморе, наконец, который из всех языковых пластов наименее переводим. Штейнберг справился с задачей, по-моему, блестяще. И щедрость, с какой мастер сделал этот подарок, была вознаграждена. Паустовский расхохотался...

Вадим Перельмутер

Ованез ШИРАЗ

x x x

Патриарху рощ, первенцу дубрав
Сердце я отдал, сердце подарил -
Выпрямился дуб. Голову задрав,
Зазвенел листвой, встал, зеленокрыл.

Одряхлел орел, умирал орел...
Только я вложил сердце в грудь орла -
Он помолодел, высоту обрел,
Над добычей свел когти и крыла.

x x x

Вновь настала весна, я на горы взойду,
Быстроногую лань обгоню на бегу,
Я с орлом полечу у высот на виду,
Сердце в гулкой груди, словно солнце, зажгу.

Вновь настала весна, я на горы взойду,
Против молний пойду под грозой на ветру,
Я на горы взойду, поцелую звезду,
Я на горы взойду, и в горах я умру.

x x x

Собрались жнецы, двинулись домой,
Словно солнце - в ночь за гряду вершин,
И луна взошла над лиловой мглой,
В поле под луной я стою один.

Но куда уйду от студеных струй,
Родниковых струй - ласковых сестриц?
Как предам цветка первый поцелуй
И оставлю грусть полуночных птиц?

Разве я отдам сон земли моей,
Меркнущих равнин трепетный покой?
Разве уступлю веянье полей,
Тронувших меня девичьей рукой?

Как же тишину брошу я одну?
С кем поговорить ей наедине?
Тишина таит жизни глубину,
Думы и мечты зреют в тишине.

С кем же при луне обручится ночь
И кому пошлют звезды чистый свет,
Если, как и все, повернешь ты прочь
И пойдешь домой, и заснешь, поэт?

Перевел Михаил Синельников

Райнер Мария РИЛЬКЕ

СОНЕТЫ К ОРФЕЮ

XV

Тихо... как вкусно... Уже не догнать
... капелька музыки с тихим напевом:
девочка теплый, девочка спелый,
опытный плод будет вам танцевать.

Вальс апельсина. Ну разве забудешь,
как погрузившись в себя бытие
дарит нам сладость. Становится тут же
вкусом любое движенье ее.

Вальс апельсина. Другая природа
выхватить и воссиять она может
в воздухе родины! Вспыхнув несет

к запаху запах. Сродниться попробуй
с чистой, тугой, не дающейся кожей,
с соком, что в жилах счастливицы бьет!

XX

Но, Господи, что посвятить тебе?
Любое из творений только тронь.
Воспоминанья о весеннем дне,
о тихом вечере в России - конь...

Тоскливая сырость тянулась в село.
Передние ноги вязал
веревкой закрученной намертво кол;
как бился, курчавился вал

взлохмаченной гривой на шее коня,
когда надрывался галоп.
Такую породу ничем не унять!

Он знает просторы, еще б!
Он пел и он слушал - и образ твой был
в нем виден. Портрет его: я посвятил.

XXI

Вновь весна. И земля, как ребенок,
В упоенье читает стихи;
много-много... А утром спросонок
заворочаются чердаки.

Строг был учитель. Мы любим мерцанье
седины в бороде старика.
Но, а какое имеет названье
снег в синеве: облака, облака!

Вновь на свободе земля и играет
вместе с детьми. Мы счастливицу ловим.
Наше веселье осалит её.

Все, что земля по весне вспоминает,
что пробуждается в самой основе,
в корнях глубоких: поёт, поёт!

XXIV

Надо ли нам от начального братства, большие,
не зовущие боги, сидя за партой
старшего класса, навек отрешиться
или суметь найти его на карте?

Сильные наши друзья, могут мертвых
принимать, но нет к стопам касанья.
Наши пиры беззаботные, наши купанья -
их послания тихие в памяти нашей почти уже стерты.

Как мы торопимся. В новом почине,
свободу растратив, друг друга не зная,
наши дороги уже - не изгибы речные,

почитаем чин чина. В котлах паровых догорают

огни прежних лет, но поднятый молот уныло
грузнет. Мы пловцы, потерявшие силы.

XXV

Тебя хочу теперь, тебя, что помню
цветком без имени (я имя не постиг),
еще один раз показать всем посторонним,
мой неоконченный, неодолимый крик.

В танец сперва нерешительно двинулось тело,
но, округлясь, его молодость вылилась в медь;
чуткую, скорбную - . Спустилась и села
музыка в сердце, как птица на ветвь.

Близко болезнь. Вот уже у теней в полной власти
тихо отхлынула кровь, но замечена к счастью,
возвращена и весной обернулась теперь.

Снова и снова тобой сокрушалась разлука.
Цвела и цвела. Только после ужасного стука
шагнула в уныло открытую дверь.

Пер. с немецкого Андрея ШВЕДОВА

Содержание



Московское бюро по правам человека Американской еврейской правозащитной организации UCSJ переехало с Новослободской ул., дом 14 на Волгоградский проспект, дом 26, комната 1401 (станция метро «Волгоградский проспект», выход к магазину «Все для дома»).

Телефоны: (095) 277-06-03
(095) 277-06-04

В феврале сего года кандидат технических наук Геннадий Ильич ГОРДОН избран почетным членом Американского оптического общества (OSA), основанного в 1916 г. и насчитывающего в своих рядах более одиннадцати тысяч членов (среди них и лауреатов Нобелевской премии) из США и еще 50 стран.

Г.Гордон - давний друг нашего издания, один из самых первых читателей «НОЯ». Поздравляем его!

Редакция

Издательство «НОЙ»

намерено издать впервые на русском языке всемирный справочник

«АРМЯНЕ: КТО ЕСТЬ КТО».

Предлагайте, спрашивайте, заказывайте!

113534, Москва, ул.Кировоградская, 44 А кор.2 кв.75
тел.386-25-63

ВАРЖАПЕТЯН Вардван Варткесович

Издание подготовлено редакцией
армяно-еврейского вестница «Ной»

Редактор В.Варжапетян
Главный художник В.Петров
Обложка художника Марка
Ибшмана
Верстка А. Полякова

Набор и верстка выполнены
редакционно-издательской фирмой
«Под знаком «П»

Подписано в печать 4.6.93
Формат 84x108 1/32
Бумага офсетная
Заказ N 888
Тираж 999 экз.

Тип. Минстанкопрома.


НОЙ
נח
תשנ"ג · ה